

Часть первая

Родители и сыновья

Содержание первой части

<i>Введение</i>	11
<i>Глава 1 Об отце.....</i>	15
Семья	15
Учёба, плен, женитьба	16
Работа, тюрьма, работа... ..	20
Эпизоды.....	26
<i>Глава 2 О матери.....</i>	31
Семья	31
Самостоятельная жизнь	34
Отступление о бабушке	35
Работа	36
К здоровью.....	38
Общение	40
К концу.....	43
<i>Глава 3 О брате</i>	45
Начало	45
К профессии.....	47
Критик и гибель.....	56
К отзывам и воспоминаниям	59

<i>Глава 4 Отзывы и воспоминания о М.Иофьеве</i>	<i>61</i>
Письмо Корнея Чуковского относительно статьи об И.Бунине	61
Заметка Бориса Алперса о книге М.Иофьева	62
Статья Нателлы Тодрия	63
О критике В.М. Гаевском, друге М.Иофьева.....	65
Тексты В.Гаевского.....	66
Статья «Комната в коридоре»	66
Из книги «Дом Петипа».....	69
Из книги «Разговоры о русском балете».....	71
Из «Книги расставаний. Заметки о критиках и спектаклях» .	72
Из главы «Профессора и студенты»	72
Из главы «Матвей Иофьев».....	74
 <i>Глава 5 О себе, составителе</i>	 <i>79</i>
Молодость.....	79
В воспитательных заведениях.....	79
За верхним образованием	80
Друзья, встречи, семья.....	81
В очном институте	85
Работа	87
Поступление не работу	87
Эксплуатационная работа.....	88
Проектная и исследовательская работа.....	91
В новом времени	98
Переезд в Германию.....	100
Решение	100
В Германии	101
Общественная работа.....	102
Встречи с медициной	102
Дополнение. Из письма Людмилы о её родителях.....	104

Введение

Я осознаю скупость слов и фраз, из которых построены эти отрывочные и, боюсь, не во всём точные записи.

Сухость стиля определена назначением текста – он почти чисто информационный.

Сыграла свою роль, конечно, и моя привычка писать научные тексты безлично, привычка, так надоевшая мне самому, но жёстко насаждаемая редакторами. За редким исключением редактор советской школы старается не переступить за область канцелярских штампов, решительно исключая личность автора; намёк на личное была возможна не далее выражения «полагал бы», которым пестрит переписка между бывшими вождями страны. Мой курьёзный диалог с редактором моей книги (приблизительно 1970 года):

- Так не пишут, давайте менять.
- Как не пишут? Такое выражение легко можно найти у Толстого!
- Вы не Толстой.

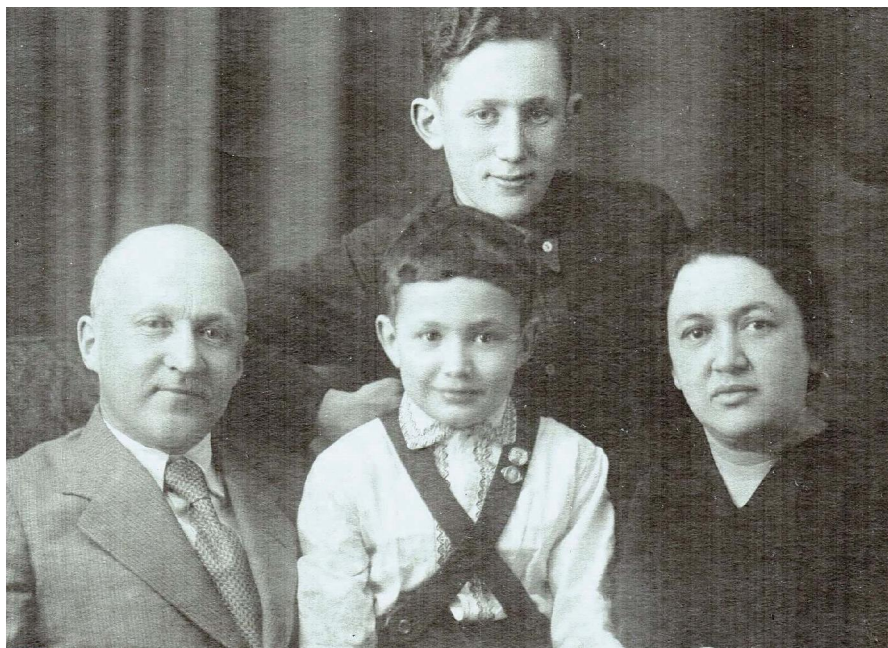
Между тем, редактор, которая не позволила подражать Толстому, не жалея труда, скрупулёзно выполнила свою работу, заставив меня устранить неопределённости текста и исключив в нём всевозможные огрехи. Сожалею, что последующие мои публикации столь внимательному редактированию не подверглись, а данное издание обходится вообще без редактора. Впрочем, в последние десятилетия по текстам сочинений некоторых неизмеримо более значительных и читаемых авторов заметно, что и им приходилось обходиться без должной редактур.

Недостаточность сведений о родителях объясняется совсем другими обстоятельствами. Их несколько.

Во-первых, мои родители, как и большинство их современников, опасались распространяться о себе, о своих родственниках, о своей стране и т.п., в свои воспоминания и оценки особенно мало посвящали

детей. Отсюда – о жизни моих родителей, протекавшей как будто на моих глазах, я знаю не всё и ещё меньше – о более ранних событиях.

Характерно, что после моих родителей осталось крайне мало бумаг, в основном – письма последних 30-ти лет, да и то далеко не все, а после брата – вообще почти ничего личного, кроме списка долгов. Зная внимание «органов» к его широкому кругу подозрительно интеллектуальных знакомых и, следовательно, к нему, он уничтожал всё, что могло бы быть ими использовано не против него (таких бумаг и не писалось), а как отправные точки о знакомствах и датах. Однако, список долгов вёлся по необходимости пунктуально; но в нем имена кредиторов брат записывал не совсем внятно, и, чтобы разобраться, нужно было быть хорошо знакомым с его кругом.



Родители с сыновьями в 1938 году.

Во-вторых, события начала 20-го века, вызвавшие резкое изменение образа жизни родителей по сравнению с прежним, традиционным (черта оседлости, идиш, иудаизм, род занятий), оторвали их от корней и лишили естественной преемственности и памяти об их предках. Тем

более – я; я лишь кое-что знаю о моих бабушках и дедушках, а о более ранних предках – совсем ничего. О том поколении мои представления созданы только книгами и только чуть менее туманны, чем сведения о спутниках Александра Македонского.

Кстати – о языке. После 1917 года новое правительство, испытывая по меньшей мере недоверие старого образованного общества, не склонного к сотрудничеству, т.е. за неимением лучшего, призвало на службу обученных в русских учебных заведениях евреев. Те, в силу разнообразных притеснений и погромов не питали особых симпатий к прежней власти, и еврейская молодёжь охотно откликнулась на этот поворот новой власти. Попад в русскую не религиозную среду, она почти полностью порвала с еврейской культурной традицией. Получилось многочисленное поколение, которое, потеряв старые корни, в силу возраста не приобрело новых корней. Таковы, например, мои родители – они забыли еврейский фольклор, а с русским знакомы не были. Поэтому в моем детстве почти никакой фольклор не фигурировал, разве что немного от деревенских девушек-нянек, позже довольно полно – с улицы и немного в школе на уроках литературы (былины и т.п.). Уже взрослым много слушал деревенские частушки. Отсюда невольная сухость моей лексики, и это, как мне кажется, обычно среди моих сверстников и затем передаётся нашим детям. Конечно, есть и счастливые исключения – те немногие, для которых язык – инструмент профессии, и разделы этой книги, касающиеся моего брата, это подтверждают.

Родной язык родителей – идиш, но на моей памяти отец совсем его забыл, а мама во время войны что-то ещё понимала, потом использовала некоторые восклицания, а последние лет тридцать и это исчезло. Я помню, как звучали два восклицания: хвэйс! (видимо, близкое к немецкому *ich weiß!* – я знаю! как я могу это знать!) и кинанхоре! (пожелание здоровья).

В-третьих, вопреки желанию мамы, я в молодости пренебрегал близостью родственников, эмансипированно заявляя, что мне ближе мои приятели, дело не в родстве, а в приятности и т.п., а будучи уже взрослым, я в течение длительного времени мало интересовался прошлым родителей, не подталкивал их вспоминать и за занятостью ленился записывать хотя бы то, что услышал из не опасного. Как сказано, мы «ленивы и не любопытны». Ведь многое в данных текстах основывается на рассказах родителей, записанных мною на магнито-

фонную плёнку в 1978-79 годах, когда мне было уже под пятьдесят, а им за восемьдесят.

В-четвертых, влияли также личные склонности к отношениям с людьми. Например, мой отец в зрелом возрасте был так поглощён своей работой, до 1938 года – творческой, и трудным бытом своей собственной семьи, что проявлял мало интереса к родственникам и знакомым. Влияло также и то, что его жена (моя мать) была в натянутых отношениях с его сёстрами. Не зря он много раз ездил проводить своих родителей (на трамвае от улицы Горького до Новинского бульвара), взяв с собой только меня. Все это привело к тому, что о родителях, братьях и сёстрах отца я знаю совсем мало.

Характерно, что мои родители решились рассказать под запись многое, раньше не известное мне, но только из давних времён, а вести рассказы дальше не пожелаали. Сказалась ли тут привычная осторожность, или я вёл разговор не в том тоне, или воспоминания слишком их волновали, – мне не известно. Сейчас мне это понятнее, чем раньше. Погружение в прошлое ярко восстанавливает в памяти совсем безразличные картины, и я испытываю эмоциональную встряску, хотя, записывая так или иначе известные мне факты, избегаю оценки.

Несмотря на эмоциональные трудности, я стараюсь поточнее восстановить в памяти и описать обстоятельства прошлой жизни, и делаю это, насколько позволяет возраст, занятость насущными делами и присутствие духа. Надеюсь, и мои читатели не без интереса познакомятся с этими обстоятельствами, и, может быть, это поможет им лучше понять себя и общество.

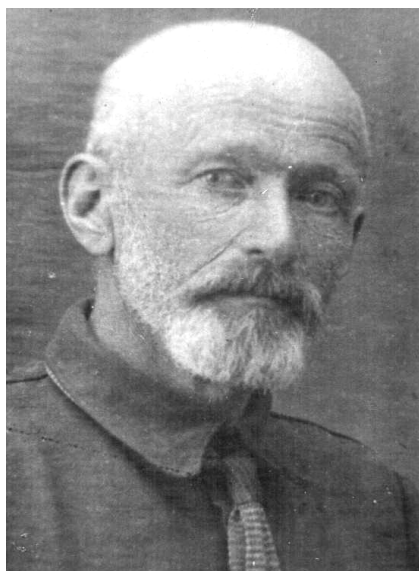
О каждом члене моей немногочисленной семьи я старался рассказать отдельно, хотя переплетений избежать не удалось.

Глава 1

Об отце

Семья

Израиль Мордухович Иофьев (в общении – Израиль Маркович, для жены и близких родственников – Изя; 03.06.1896-16.04.1987) родился в Витебске.



Мордух – отец отца

Родители Мордух и Пейса Иофьевы вместе с детьми жили в доме, где содержали и мастерскую. В ней на ручных станках изготавливали гильзы для папирос. Покупали бумагу и картон и поставляли в магазин готовые для набивки гильзы. Станки крутили подмастерья и дети.

После революции они переехали в Москву и жили на втором этаже деревянного дома у Новинского бульвара совсем рядом с женской тюрьмой, располагавшейся за стенами бывшего монастыря на небольшом искусственном взгорке. Там приблизительно находится посольство США.

Квартира состояла из столовой, занятой большим столом и громадным буфетом, и двух, максимум трёх маленьких чистых комнат, обставленных скудно. В них жили, на моей памяти, сами родители отца и две или три дочери.

Дедушку Мордуха я не помню. Он был небольшим служащим как будто в «Госстрахе». Во время войны он находился, как и бабушка, с кем-то из дочерей в эвакуации в Чимкенте, там умер и похоронен. Бабушку Пейсу помню смутно как немного пухлую немногословную старушку низкого роста. Она умерла вскоре после войны; на меня произвёл ужасное впечатление вынос гроба с её телом по длинной однопролётной крутой лестнице со второго этажа.

В семье было три сына и четыре дочери; мой отец – старший. Вот скудные сведения о наиболее мне знакомых в порядке их старшинства.

Залман (дома – Зяма) стал в Москве серьезным и известным врачом по болезням сердца, ассистентом, кажется, у Плетнева; он скоропостижно умер от «разрыва сердца» приблизительно в 1937 году.

Самуил (дома – Шлёма) жил с женой и двумя детьми в Ленинграде, был призван в 1939 году на войну с Финляндией и погиб. Мама вместе со мной гостила во время зимних каникул в начале 1941 года в Ленинграде. Мы навестили осиротевшую семью. В скромной квартире познакомились с молодой милой грустной русской женщиной и с её двумя детьми трёх-пяти лет. Она не имела специальности. Мама подарила им что-то. Затем во время войны 1941-45 годов эта семья исчезла из виду, не очень энергичные поиски, которые предпринял отец, ни к чему не привели.

Дора была замужем за Ильей Хотимским, жили в Москве, в 1936 году родила сына Захара (дома – Зарек). Ещё несколько лет назад он работал в московской фирме, занятой восстановлением видеофайлов.

Дина – младшая, самая красивая и всеми любимая сестра. В 1940 году родила сына Леню. Летом 1941 года печальная Дина приехала с Леной на руках в Пермь и была поселена рядом с нашей семьёй и Дорой. Муж погиб на войне. Её сын – профессор, автор востребованных учебных программ.

В возрасте семи-восьми лет Изя был отдан в подготовительное отделение коммерческого училища. Преподавание велось на русском языке. Религия преподавалась порознь: православным – батюшкой, евреям – раввином (он же учил истории еврейского народа). Отлично учился математике и русскому языку, много читал. Из-за прогулов занятий в четвёртом классе чуть не выгнали из училища. В седьмом классе на лодочной прогулке по весенней Западной Двине, не умея плавать, едва не утонул.

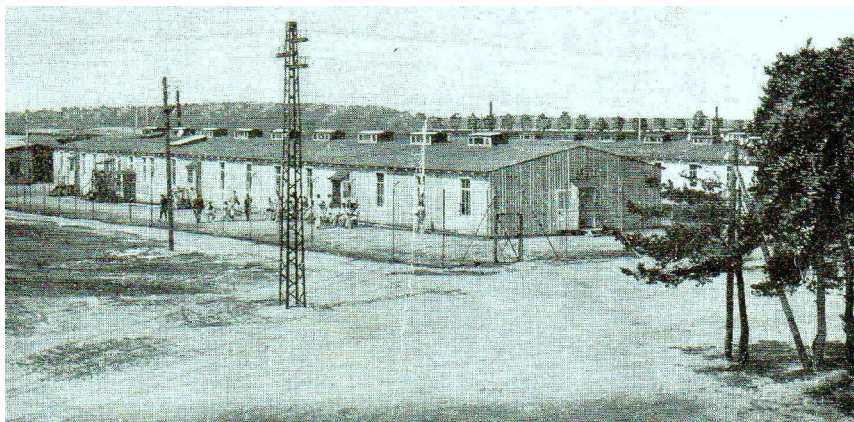
Учёба, плен, женитьба

В семье говорили на идиш, до училища Изя обучался в хедере, но, уехав из семьи, стал забывать свой язык, и к сороковым годам было заметно, что он едва помнил несколько родных слов. К религиозным

деятелям относился отрицательно. В русском языке был вполне грамотен, хотя пользовался им несколько формально и сухо, как, к примеру, И.В. Сталин.

Окончив училище, в 1913 году вместе с двумя друзьями (один из них Бэра Вульфсон, о котором – дальше) отправился в Льеж (Бельгия) на подготовительный курс университета для последующего обучения электротехнике. Перспективой было, окончив курс, вернуться в Россию и держать там экзамен, подтверждающий диплом, или отправиться инженером в Бельгийское Конго.

Летом жил с друзьями на даче, и тут он – симпатичный белокурый юноша был выбран кавалером некой баронессой (как он сказал: «из замка!»). Она собиралась отправиться с ним осенью в Париж. Но осенью 1914 года немцы оккупировали Бельгию и интернировали многочисленных русских подданных (400 человек) в лагерь под Ганновером. Отец сохранил фотографии (две из них на следующей странице); при всей их нечёткости они всё же дают представление о лагере и о людях.



Копия с почтовой открытки, изданной в Ганновере.

*Сзади надпись: "Gefangenlager in Scheuen b. Celle №1. Gesamtansicht"
(Лагерь пленных в Scheuen близ Celle №1. Общий вид).*

Порядки в лагере жёсткие – попытки манкировать тяжёлой работой и порядком пресекались и наказывались. Один раз Изя пытался избежать вывода на работу под холодным дождём и был бит охранником. Больше досталось его другу Давиду Парнасу, тот пытался бежать из плена, но был пойман и наказан тюрьмой.

Тем не менее, позволялось получать посылки от семьи; это делалось через испанское посольство. Отец рассказывал, что его друзья получали от своих родителей больше, чем он; жили коммуной и они делились с ним. Можно было отлучаться из лагеря и даже устроиться на работу вне лагеря (отец работал с тяжестями в ганноверском оперном театре).



*Группа интернированных.
Отец справа в расстёгнутой ту-
журке поверх белой рубашки
с галстуком.*

Выставлен плакат:

Liege-Cmartreuse
Munster
Celle Molzminden
1914 23 VIII 1916



*Группа интернированных.
Держат плакат „23 VIII 1917 Holzminden“.
На стойке барака вывеска „Schuttmacher“ (сапожник).*

За время плена отец получил какой-то опыт во французском языке и изучил начала английского. Усовершенствовал и немецкий, впоследствии это дало дополнительный заработок: отец часами переводил по вечерам надписи на чертежах немецкого оборудования, приходившего на заводы по линии репараций.

В 1918 году, после Брест-Литовского мира, пленных русских обменяли на пленных немцев, и отец вернулся в Витебск (о бедственном состоянии России узнал только на границе со слов пограничного начальника, видимо, бывшего офицера).

Пробыв у родителей несколько месяцев, отправился в Москву и там поступил на электротехнический факультет Высшего технического училища (учился в том самом здании на 2-ой Бауманской улице у Коровьевого брода, в котором в 60-х и 70-х годах помещался институт «Энергосетьпроект» и работал я). Сильно бедствовал; как студенту давали осьмушку хлеба (50 грамм) и в столовой похлёбку из шелухи картофеля, с голода упал на улице. Но повезло не погибнуть: знакомый по плену устроил его счетоводом в этой же столовой. Потом занимался ликбезом рабочих на хлебозаводе.

На лето 1919 года Изя снова поехал к родителям в более сытный Витебск. Там упомянутый Бэра пригласил его погулять вместе со своей какой-то тётёй Фаей, он согласился, а тётя оказалась красивой молодой девицей, они понравились друг другу и дальше обходились без Бэры. Это была будущая жена отца и моя мать.

Они разъехались, она в Петербург, он в Москву, затем он позвал её в Москву, она приехала и поселилась на 1-ой Тверской-Ямской в том доме, который потом стал домом 46-б по ул. Горького. А он жил в семье у родителей Парнаса, своего друга по Бельгии. Через два года 23 сентября 1922 года свою близость оформили браком. Свидетелем был Парнас, отпраздновали чаем с хлебом.

Голодный и дурно одетый Изя встретил на улице Арона, младшего брата Фаи, служившего в ПУР'е, тот спешил на какое-то заседание и позвал Изю с собой. Это было, видимо, в 1919 году. В большом зале тогда возглавлявший Красную армию Лев Троцкий решительно ругал провинившихся командиров и обрисовывал дальнейшие планы. В этом обществе Изя был единственным штатским, и ему было страшно, что его сочтут шпионом. Отец рассказывал этот эпизод, возмущаясь Троцким как человеком безапелляционным и грубым (кстати, это было ещё не время беспристрастных бесед о Троцком).

В 1922 году отец переехал к матери на 1-ую Тверскую-Ямскую. Это уже была другая жизнь – НЭП.

Работа, тюрьма, работа...

После окончания МВТУ, в мае 1924 года поступил на работу в проектную часть Мосэнерго (на Раушской набережной), где участвовал в проектировании электрической части Московской энергосистемы. Со временем возглавил это проектирование. Много занимался разработкой электростанции Бобрики (потом Сталиногорская, потом Новомосковская ГРЭС). В 1930-х годах одновременно преподавал в Московском энергетическом институте (МЭИ), был там доцентом.



Отец (стоит за человеком с седой бородой) среди серьёзных коллег по строительству Шатурской станции под Москвой – конец 1920-х годов.

Вместе со своим учеником, сотрудником и другом создал книгу – учебное пособие об электрических механизмах, обеспечивающих работу электростанции (инж. А.З. Бейлин, доц. И.М. Иофьев, Установки собственного расхода паровых электростанций, НКТП СССР, ОНТИ, 1935, 243с.) По теме своей профессии опубликовал ряд статей в журналах, две из них приведены в списке литературы, приложенном к упомянутой книге.

В 1938 году, в порядке расчистки Москвы от «чуждых элементов» под праздник революции 1917 года, ранним утром явились два сотрудника НКВД, предъявили ордер на обыск и арест некого Иоффе, на возражение относительно несовпадения фамилии сказали, что там разберутся, и заявили, что ищут оружие и контрреволюционные материалы. Искать, в сущности, не стали, в заднюю комнату, где в темноте лежали дети, только заглянули, едва приоткрыв дверь. Но нашли в ящике письменного стола, где лежали школьные дела старшего сына, открытку с изображением Тухачевского, в то время уже расстрелянного; эту подробность о своём герое сын не знал.

Арестованного отвезли на Лубянку и сунули в камеру, где уже был ещё один такой же. Отец расстелил на полу пальто и приготовился спать, сокамерник же нервно метался и приговаривал, мол, как Вы можете быть таким бесчувственным.

В качестве обвинения следователь располагал списком из 17 фамилий вредителей, в котором фигурировал и Иоффе. Список был составлен арестованным дежурным инженером Мосэнерго, по национальности грузином, который ко времени ареста отца уже умер в тюрьме. Этот инженер не знал отца, но, видимо, слышал о нем. Следователь требовал, чтобы отец описал свои акты вредительства или, как компромисс, – хотя бы ошибки в проектной документации. Допросы велись ночью, а днём спать было нельзя. Обвиняемый стоял, следователь сидел, разговаривал по своим делам по телефону, по временам осведомлялся по матери, не сознаётся ли, наконец, жидовская морда. Когда следователь задрёмывал, отец доставал из кармана кусок сахара, купленного в тюремном ларьке, сосал его.

Параллельно с допросами следователь передал проекты, выполненные под руководством арестованного, на экспертизу некоторым инженерам и учёным. Одни в память о прежних публичных дискуссиях с ним настаивали на своём мнении, другие делали заведомо наивные замечания, от которых было легко отбиться. Например, кто-то заметил, что электрический кабель на чертеже недопустимо изогнут; отец легко доказал, что изгиб соответствует нормам. Среди первых были известные люди: проф. А.А. Глазунов, впоследствии читавший мне лекции в МЭИ, и И.М. Маркович, тоже профессор, руководивший вместе с тем «службой электрических режимов» Мосэнерго (дело сложное и ответственное), – оба авторы учебников, люди влиятельные. Отец писал ответы, вины не признавал.

Через пару месяцев после посадки следователь отечески пристыдил его невниманием к семье и продиктовал доверенность жене на получение в Мосэнерго ещё не выплаченной ему зарплаты. А семья действительно бедствовала – в первый момент денег совсем не оказалось, жили на мизерное жалование матери как бухгалтера, посылно помогал отец арестованного отца, сам человек бедный. Кстати, он осмеливался писать Сталину и прочим, что напрасно в чем-то заподозрили его сына, сына бедного еврея, всё получившего от советской власти и благодарного ей. Может быть, это помогло.

Как и многие, он себе положил: пока не бьют, самооговоры не подписывать. Его не били, а пытку ночными допросами он выдержал. Не били же, догадываюсь, потому, что не успели: вскоре после его ареста сняли наркома НКВД Н.И. Ежова (9.12.1938), следователям стало неуютно, а через полгода он был арестован и за ним последовали многие из его подчинённых.

Через некоторое время сидения допросы кончились, ещё через некоторое время снова вызвали к следователю, но уже к другому. Тот спросил: «Ты почему здесь?» Отец ответил, мол, посадили и сажу. Получил приказ снова писать объяснения по всем пунктам. Но уже сравнительно вежливо. Стало похоже, что дело идёт к благополучному концу.

В это время, как говорят, выпустили из тюрем приблизительно 100 тысяч подследственных, которые ещё не успели «сознаться». В их числе упорного отца. Под утро он пришёл пешком из недалёкой от нашего дома Бутырской тюрьмы.

Народный комиссариат внутренних дел, Главное управление государственной безопасности, Бутырская тюрьма, выдали справку №63 от 04.09.1939. Она подписана пом. начальника и начальником канцелярии, имеет размер А6 и содержит текст:

Выдана гр. Иофьеву Израилу Мордуховичу 1896г. гор Витебска в том, что он с 6 Ноября 1938г. содержался в Бутырской тюрьме ГУГБ НКВД и 4 Сентября 1939г. освобожден в связи с прекращением дела. Дана для представления по месту жительства; видом на жительство не служит.

Видимо, справка не точна: по словам отца, он сначала находился на Лубянке, затем в одиночной камере в Таганской тюрьме и лишь последние месяцы благоденствовал (это не шутка; по сравнению с Та-

ганкой!) в общей камере Бутырки, светлой и тёплой, наполненной интересным образованным народом.

Дополнительные сведения содержатся в справке более почтенного размера А5 на бланке Прокуратуры Союза ССР, Прокурора гор. Москвы. Она нумерована (№К8843), выдана 08.09.1939, подписана «Пом. Прокурора г. Москвы по спецделам» Рыжовым и содержит машинописный текст:

Дана настоящая гр. Иофьеву Израилу Мордуховичу в том, что уголовное дело по обвинению его в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-7 и 53-11 УК РСФСР 29/VIII-1939г. прекращено Прокуратурой г. Москвы за отсутствием состава преступления в действиях Иофьева И.М.

Освобождение было, насколько помнится, сопровождено путёвкой в санаторий.

Впоследствии, в 90-х годах я был признан той же прокуратурой Москвы пострадавшим от политических репрессий, и в 2007 году к этому было добавлено загадочное, но бюрократически что-то значащее выражение: «как оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца, необоснованно репрессированного по политическим мотивам, признан подвергшимся политической репрессии и реабилитирован». Предъявление свидетельства об этом вызывало у чиновников заметный трепет и давало некоторые льготы. Из них наиболее ясные – скидка на оплату электричества и билетов на пригородные поезда, а также выплата по курсу того времени 10-20 евро в месяц.

А тем временем его соавтор А.З. Бейлин погиб. Его тело обнаружили в канале отвода тёплой воды от электростанции в Бобриках, которую они вместе проектировали. Было ли это результатом своеобразной казни, уголовщины или самоубийства – не известно. Последнее вполне вероятно как следствие слишком деятельных допросов по делу отца. Что стало с его семьёй, не знаю.

После выхода из тюрьмы отец не решился вернуться в слишком опасную среду Мосэнерго и МЭИ и поступил 02.10.1939 на более скромную и спокойную должность в Гипроцветмет (Государственный институт по проектированию предприятий цветной металлургии). Этот институт проектировал в основном предприятия, добывающие и перерабатывающие медь, цинк и свинец, расположенные в средней Азии и в Закавказье. Отец стал руководителем группы, проектировавшей подстанции и электрическую часть электростанций для предприятий цветной металлургии.

Деятельность института охарактеризована в юбилейной книге «Проектирование предприятий цветной металлургии, к 50-летию Гипроцветмета», М. Металлургия 1979. В этой книге можно увидеть и портрет отца.

И руководитель отдела И.Н. Москвитин, и директор института Н.П. Ольхов работу отца скоро оценили. Например, уже через полтора месяца работы он получил премию 200 рублей «за проявленную инициативу и добросовестную проработку проекта электротехнической части Глубоковской ЦЭС» (ЦЭС – центральная электростанция).



*Отец с сыном на демонстрации
среди сотрудников Гипроцветмета,
1-е мая 1941 года, Пушкинская площадь.*

*Событие запомнилось бесконечно
повторяемым припевом марша о трак-
торах:*

*Мы с железным конём
Все поля обойдём,
Соберём всё, посеём и вспашем.
Наша сила крепка,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.*

*А до такого «гуляния» оставалось
меньше двух месяцев.*

В 1943 году он был назначен главным инженером-электриком электротехнического сектора, а в 1952 году – главным электриком института. Затем он с 1954 по 1956 год являлся главным инженером



Отец на «доске почёта»

проекта Алтайской энергосистемы, которая создавалась в первую очередь для электроснабжения предприятий цветной металлургии. (В 1956 году эта энергосистема, значимая для всего Алтайского края, была переведена в подчинение Министерства электростанций, и её проектирование ушло из Гипроцветмета.) В связи с этим беспартийного специалиста сделали сначала руководителем электро-технического отдела, а потом поручили этому отделу ещё и проектирование автоматики и связи. Его портрет не сходил с «доски почёта» института.

Директора Ольхова помню воспитанным человеком хорошего сложения; после потери отцом старшего сына, он посетил родителей с трогательными словами сочувствия.

Заметим кстати: до 1970-х годов членство в партии было желательным и облегчающим карьерным свойством, но до определённых ступеней его отсутствие не было непреодолимой преградой для профессионально нужных людей.

Во время войны И.М. прошёл две ступени эвакуации:

- Челябинск – с осени 1941 до лета 1942 года работа в небольшой бригаде Гипроцветмета, выполняющей проектную документацию по расширению цинкового завода;
- посёлок Шушаково под городом Лениногорском в Алтайском крае – с лета 1942 по июль 1943 года работа в основном составе эвакуированного Гипроцветмета.

Необходимость срочно оперировать жену привела к переезду в Москву до возвращения туда всего института. Гипроцветмет дал разрешение на работу в московской части этого института, и, добившись пропуска в закрытую в это время Москву, в июле 1943 отец переехал туда вместе с женой и младшим сыном (старший сына не удалось включить в пропуск, и он остался в Шушаково ещё на несколько месяцев). Предупреждённое письмом отца домоуправление заблаговре-

менно освободило помещение семьи от временно поселенных там жильцов, и семья вернулась в свои стены к своей мебели.

Последние лет 10-15 работы отец зарабатывал не плохо по тем временам: все-таки исполнял не малую работу, были премии, в системе металлургии выплачивали большую надбавку за выслугу лет. Кроме того, он получал максимальную пенсию, сначала 120, потом 132 руб. (это составляло приблизительно половину оклада). А семья уменьшалась: в 1955 году из неё ушёл младший сын и в 1959 году погиб старший. Жили же по привычке очень скромно, но жене особенно невыносимым было коммунальное житье, и родители внесли, как тогда казалось, несообразно большие деньги на строительство кооперативной отдельной квартиры. Наконец, в 1961 году поселились в ней – маленькой, размером меньше 40 кв. метров: две смежных комнаты, девятиэтажный дом из бетонных блоков для сотрудников Гипроцветмета в начале Открытого шоссе.

После ухода с работы (с 01.01.1965) отец занимался домашним хозяйством, но довольно скоро ему это надоело и уже через год он согласился вернуться в свой институт, но не на прежнюю должность начальника отдела, а на менее нервную должность главного специалиста. Эту работу он с удовольствием исполнял с перерывами до 26 марта 1976 года, когда и это стало уже не под силу. С тех пор родители жили на одну пенсию отца, к которой добавляли немного из накопленных денег. Получалось скромно, если не сказать бедно.

Последние годы ослабли зрение и слух, но довольно легко перенёс инфаркт, случившийся дома. Врач реанимационного отделения сказал: «Сохраненный старик, вылечим.» Умер в урологическом отделении больницы на Госпитальной площади, куда в связи с затруднённым мочеиспусканием за несколько дней до этого был привезён мною. По свидетельству двух соседей по палате, сидя, наклонился к ноге, внезапно упал и тут же скончался. Урна с прахом похоронена на Востряковском кладбище в Москве вместе с урной старшего сына.

Эпизоды

Воскресным днём приблизительно в 1936 году я так мучительно долго не желал глотать мою обеденную кашу, что у отца лопнуло терпение видеть это, он положил меня поперёк дивана, снял штаны и отшлёпал. Эта экзекуция – единственная на моей памяти, и жена неоднократно упрекала его в «мягкотелости» по отношению к сыновьям, а

моему аппетиту экзекуция не помогла – он проснулся позже, когда отец был в тюрьме, а я пошёл в школу.

Зимой 1938-39 годов я и мой друг Роба шли по улице Горького к нашему подъезду. Оба были без отцов: мой был арестован, а у Робы недавно умер, о чем он, видимо, догадывался, хотя старшие (и я с ними) это скрывали от него. И тут Роба неожиданно спросил меня: «Ты очень хочешь, чтобы твой отец вернулся?» Я ответил: «Нет». Я не объяснил почему, а он не спросил о причине. Но я твёрдо знал и сейчас помню, почему так ответил: мне казалось, что, я не должен хотеть этого, и тогда это как раз скорее сбудется.

В 1945 или в 1946 году у отца открылась язва желудка, и он лёг в Боткинскую больницу. Он пробыл там месяц, отдохнул, а лечения, собственно, никакого не было, кроме диеты. И ещё ему запретили курить, и он потом строго соблюдал это. Очевидно, диета была действительно строгой, и, чтобы остальное тело не исчезло вместе с язвой, требовалось дополнительное питание. Время было голодное, но мама что-то все-таки создавала, а я это что-то относил отцу. Звал с собой своего друга Робу, и мы пешком через Белорусский вокзал и аллеи Ленинградского шоссе добирались до больницы, находили отца в садике, отдавали ему еду, пока он ел, бегали по саду как казаки и разбойники, затем забирали банку и шли домой. Было лето, и получалось целое приключение. Для отца эта болезнь прошла благополучно, никогда больше он животом не страдал. Да и вообще болел редко.

Сразу после войны потребовалось поехать в подсобное хозяйство Гипроцветмета, чтобы заработать там трудодни для получения продуктов, дополнительных к тем, которые получали по карточкам (в нашей семье он получал лучшую карточку – рабочую или, иногда, ещё лучше – литер Б, брат – как тогда говорили, служащую или иждивенческую, я – детскую, мать – в Челябинске служащую и потом иждивенческую). Чтобы трудодней было больше, отец взял меня с собой – моя работа засчитывалась в половину взрослой. Убирали, насколько помню горох: нужно было рвать кусты, которые шли на обмолот. Это был тяжёлый труд, отец был мало приспособлен к нему, и я со стыдом и досадой замечал иронические ухмылки сослуживцев по его поводу.

Будучи вполне состоявшимся инженером, отец, тем не менее, не имел склонности и даже способности к ручной работе. Вся работу по дому, кроме очень простой и ежедневной, вроде мытья посуды, заду-мывала и собственноручно выполняла жена с помощью примитивных

инструментов, иногда призывая сына или «мужика». Правда, то, что она при житье на улице Горького называла генеральной уборкой или являлось просто стиркой, непременно приурочивалось к воскресенью и производилось с участием отца.

Приблизительно в 1948 году отец был так возмущён моим курением и дерзким поведением, что бросился на меня с кулаками. Я же, не привыкший к такому обороту дела, принял оборонительную стойку. Между нами в ужасе от этой сцены встала мать, брат тоже вступил, драка не состоялась.

Когда мне потребовалось в 1950 году перейти с первого курса заочного института на второй курс очного, отец попросил об этом декана факультета Ивана Ивановича Соловьёва. Тот вышел из Мосэнерго, был там начальником службы релейной защиты и автоматики и знал отца по довоенной работе. Он включил меня в список подобных мне, переводимых на его факультет. Я знал от отца, что до войны Соловьёв осмелился кое-кого уберечь от тюрьмы своими благоприятными отзывами.

Пока в 1955 году я и Лена, первая моя жена, по жёсткому распределению после института болтались без всякого дела, без продуктов и почти без денег на будущей подстанции в Лесогорске под Арзамасом, отец пошёл в Мосэнерго к уже упомянутому Марковичу и рассказал ему об этом.

Из своего огромного кабинета окнами на реку и Зарядье, оборудованного, как и многие комнаты в Мосэнерго, громоздкой трофейной мебелью, он руководил ответственной службой, ведавшей электрической частью энергосистемы, сумел избегать аварий во вверенной энергосистеме, сохраниться сам в неизбежно возникавших сложных ситуациях работы и, сверх того, вести учебную и научную работу.

Маркович тут же позвал к себе в кабинет Сергея Ивановича Ковалёва, бывшего сотрудника Мосэнерго, тоже знавшего отца. Он работал начальником технического отдела в том же Управлении, что и я. Составили план, и Ковалёв обратил внимание моего московского начальника на то, что тот сидит без сотрудников, а в арзамасских лесах зря торчит, вроде, неплохой юный инженер. Меня перевели в Москву, а в этот Лесогорск я потом многократно ездил в длительные командировки.

В 1963 году в связи с переездом родителей в кооперативную квартиру у меня с ними вышел чуть ли не конфликт.

На улице Горького родители жили вдвоём, я же только числился там (как тогда это называлось, был там, как и они, «прописан»), а реально жил вместе с Леной и дочерью Машей у её родителей в начале Дмитровского шоссе. Как уже упомянуто выше, власти дали родителям разрешение вступить в кооператив и внести деньги за квартиру (за Преображенской заставой на третьем этаже корпуса 3 дома 7 по бульвару Рокоссовского, в квартире 19 общей площадью 37 кв. м.; две смежных комнаты площадью 23 кв. м.). Наконец дом построили, и родители получили разрешение («ордер») въехать в новую квартиру.

Но не обошлось без затруднения: власти отказались их «выписать» из старых комнат, и поэтому в новой квартире они прописаться не могли. Причиной затора был я – власти не хотели оставлять мне одному (!) наши комнаты величиной 32 кв. м. (тогда была норма – 9 кв. м. на человека плюс 4,5 кв. м. на «ответственного квартиросъёмщика»). Войдя в государственные интересы, я дал письменное обязательство переехать в меньшее жильё. Переезд родителей состоялся, я стал бывать в своих пустых комнатах, демонстрируя возможным завистникам реальное проживание, власти же подыскивали мне комнату из числа освобождающихся. Казалось бы, все шло своим чередом, но мне предложили переехать в какой-то чулан где-то за Октябрьским полем, и я отказался. Чиновники нажали на родителей, стали им чем-то мифическим угрожать, они испугались и нервно потребовали от меня уступить и уехать, куда скажут. Я уже имел некоторый опыт неподчинения чиновникам и, с другой стороны, был «обстрелян тяжёлой артиллерией» далеко не столь сильно, как они, да и время было уже не такое артиллерийское, так что я упорствовал. Спротивление и в этот раз принесло плоды – мне предложили пристойную комнату в небольшой чистой и тихой квартире в доме между 3-ей и 4-ой Тверской-Ямской поблизости от площади Маяковского (раньше и теперь Триумфальная площадь). Я согласился, все проблемы с пропиской отпали, и мы с отцом вдвоём перевезли мои немногочисленные пожитки из комнат на улице Горького в эту комнату. По дороге он привычно по-нукал нас: «Пошевеливайся!» Этапы сделанного удовлетворённо отмечал выдохом «так-с».

К этому времени жизнь с Леной разладилась, и я прожил там лет шесть.

Нередко в знак обиды на меня мама отказывалась со мной разговаривать. Если это затягивалось, отцу становилось плохо жить, и он

многократно звонил мне и увещевал повиниться вне зависимости от того, кто прав, а просто потому, что она старый и очень больной человек. Он любил её, очень жалел и во всём уступал, полагая её несчастной – в отличие от него, всегда здорового и довольного жизнью.

Наконец, два дополнительных слова о личности отца, как она была видна с точки зрения сына. В семье он был самым верноподданным, избегал какого-либо недовольства людьми или властью и бывал очень недоволен и даже гневался на критику властей или, тем более, на иронию в их адрес. К людям он неизменно обращался с заметной приветливостью. Сейчас мне кажется, что тут было не так много безразличия или сознательного лукавства, сколько простой осторожности, ставшей привычной и интуитивно создавшей такую защитную оболочку.

Глава 2

О матери

Семья

Фая Моисеевна Иофьева (в общении Фаня Моисеевна, Фаня, в девичестве Гельцер, 21.10.1897-08.04.1996) согласно документам родилась в Гомеле, хотя её родным городом является Двинск (Даугавпилс).



*Бабушка М.Б. Гусинская -
Гельцер - Левина, 1930-е годы.*

Мать Фаи, т.е. моя бабушка, Муся Берковна Гусинская родилась в 1861 году в семье резника в маленьком местечке Лады на Днепре. В этой семье было пять девушек, практически бесприданниц, им всем пришлось выйти замуж за «стариков». Наконец, в 1887 году и Муся была выдана замуж в Двинск за Мовшу (Моисей) Аароновича Гельцер, который был старше ее на 29 лет. Он какую-то роль играл в фирме, которая торговала постным маслом, может быть, был даже ее совладельцем. Это был третий брак Мовши, и к тому времени сохранилось восемь его детей от первого брака, три мальчика и пять девушек. Все пятеро наукам учились дома (вне гимназии), прекрасно вышивали. Первая жена Мовши умерла, а второй брак продолжался всего полтора месяца – жена сбежала обратно к родителям, не сумев поладить с уже взрослыми детьми мужа.

Все эти дети, сводные братья и сестры Фаи, обзавелись семьями при бабушке, но стали жить не в Двинске, а семеро в Витебске и один из них, Самуил, – в Риге. В этом браке Мовши и Муси рождены две дочери и один сын, Фая – средняя.

Младший из них Арон был натурой активной, с несправедливостями той жизни мириться не желал, не желал также учиться в гимназии, чуть повзрослев, участвовал в подпольной большевистской деятельности в Гомеле и с 1920 года работал в ПУРе (политуправление армии?). Он умер в марте 1924 года, был похоронен в Москве на еврейском кладбище. Позже оно было ликвидировано, и бабушка Муся перезахоронила его прах в 1938 году на еврейском участке Востряковского кладбища.



*Парад гимназисток в 1913 году.
С книгой – Фаня.*

Обе сестры, Роза и Фая, прилежно учились в русской гимназии, куда ходили из своего окраинного дома два километра. Забота бабушки ограничивалась только деньгами за учение, которые она передавала с дочерьми. В гимназии раздельно преподавали православную религию и иудаизм.

Старшая сестра Роза родилась в 1892 году: была замужем за

Ильей Осиповичем Рубиным (он внезапно умер от инфаркта в 1938 году). В 1930-х годах Илья работал в медицинской части литфонда (фонд разного рода помощи литературным работникам). Он, Роза и двое их детей Юля и Володя жили на Тверском бульваре в старом двухэтажном доме между Камерным театром и Никитскими воротами. В коммунальной квартире на втором этаже они занимали две комнаты. В квартиру со двора вела внешняя деревянная лестница. Этот дом в конце прошлого века сломали, а на его месте создали новое строение, очень похожее на старое, – но уже для других жильцов.

В этих комнатах жила и бабушка Муся, а также до войны – муж Юли и после войны – первая жена Володи. В большей из комнат стоял рояль Володи. Однажды я поразился, увидев под ним супружеское ложе Юли.

Роза, на моей памяти, практиковала зубным врачом, дома, с помощью бормашины с ножным приводом. Пару раз сверлила она и меня. Работа была нервная: за её доходами следил «фин» (фининспектор). Он торчал во дворе, выяснял у её пациентов, сколько они заплатили, и потом сверял записи в её книге учёта с данными опроса.

Юля (1916-2008) окончила ГИТИС и занималась художественным воспитанием детей; она опубликовала несколько книг по этой теме и имела степень кандидата наук. Володя (1924) окончил консерваторию и стал успешным композитором, идя от оптимистической оперы «Три толстяка» по повести Ю.Олеси к трагическим сочинениям на российские исторические и религиозные темы.

Возвращаясь к бабушке Мусе. Она в 1907 году лишилась мужа. Завещание назначило двух душеприказчиков – сын Гирша и зять Изя Вульфсон, отец Нёмы и Бэры (об обоих – дальше, а о Бэре уже упомянуто, так как он познакомил моих родителей). Согласно завещанию основные деньги оставались детям от первого брака, большая часть – сыновьям, поменьше – дочерям и совсем мало, на жизнь в течение одного года или двух лет, – последней и любимой жене и её трём детям. Это было воспринято как явная несправедливость, возникло подозрение, что завещание поддельное. Особенно тяжёлым было то, что дом в котором оставались бабушка и трое её детей, становился собственностью Самуила, который жил в Риге, имел там семью и в этом доме не нуждался. Он продал дом, и бабушке нужно было искать себе и детям жилье, на которое средств она не имела. Мало того, покупатель был не еврей, что было оскорбительно с бабушкиной религиозной точки зрения (мезузы и т.п.). Она обратилась за справедливым решением к знаменитому ребе. Тот решил, что исполнение завещания должно быть отсрочено на год.

После этого она год жила в своём доме и затем три года снимала квартиру (на Постоялой улице). Она завела собственную торговлю опять-таки постным маслом, но, несмотря на все ухищрения, дело шло плохо. Она вторично вышла замуж в город Гомель – с этого времени (приблизительно с 1911 года) имела фамилию Левина. Её второй муж Левин владел двухэтажным постепенно ветшающим домом и жил на то, что из четырёх квартир три сдавал. Она переехала туда с Ароном. Роза к этому времени училась в Киеве на зубоврачебных курсах, а Фая осталась в семье знакомых (Кацен) – сначала Муся платила за неё, когда же эта возможность исчерпалась, Фая расплачивалась помощью в обучении их дочери Дины.

В пожилом возрасте мама часто с гордостью упоминала, что начала самостоятельную жизнь с четырнадцати лет.

В 1914 году Фая окончила гимназию, началась война, немцы подходили к Двинску, и Фаю отправили к её матери в Гомель через Ви-

тебск, где находились сводные сестры и братья. Проездом с южного курорта в Витебске оказалась семья младшей сводной сестры Эммы Рабинович, она предложила Фая присоединиться к ним и ехать в Рославль, где они жили, с тем, чтобы готовить её сыновей Мосю и Борю к поступлению в гимназию. Фая прожила в семье Эммы несколько месяцев и с появлением в этой семье брата мужа, учителя по профессии, была отправлена в Гомель к матери.

В Гомеле Муся выправила Фая бумаги, удостоверяющие личность, в результате чего её родным городом официально числится Гомель, а не действительная родина – Двинск.

У матери в Гомеле Фая встретила с сестрой Розой. Та как раз окончила свои зубо врачебные курсы и отправилась в поисках работы в Петроград (как медик она имела право поселиться вне черты оседлости). Там в 1915 году она вышла замуж за уже упомянутого Рубина. Он, фельдшер по образованию, во время войны окончил курсы по венерическим болезням и, за недостатком врачей, стал как врач работать в одном из частных врачебных заведений. Его специальность в военное время оказалась очень актуальной, жили они безбедно, и Роза пригласила к себе младшую сестру Фая. Та приехала и поступила в частную зубо врачебную школу.

Самостоятельная жизнь

Зубо врачебная школа не давала право жить в Петрограде. Помогла делу встреча с соученицей по Двинску, которая работала в петроградской организации «Пленбеж» (обустройство пленных и беженцев) и смогла ей как беженке из Двинска выдать бумагу на право жительства.

Фая жила и оплачивала обучение остатком наследства, который постепенно передавал ей один из опекунов Гирша, а также на заработок от уроков детям и от занятий со статистическими материалами по сельскому хозяйству (для этого ей даже счёты выдали!). Революция 1917 года оставила её без средств, и она, проучившись к тому времени два года, не смогла окончить курс – требовалось ещё полгода. В этом же году сестра Роза с мужем и годовалой Юлей уехали из голодного Петрограда в Витебск – кстати, родной город Рубина. Он врачевал там до 1922 года. Видимо, в этом году Рубины переехали в Москву.

Фая жила на Петроградской стороне и устроилась там 14.10.1917 на вечернюю работу счетоводом в учреждении (Районном бюро Пет-

рокоммуны), которое ведало выдачей продуктовых карточек и продуктов по карточкам.

В 1918 или в 1919 году по дороге в отпуск в Гомель Фая остановилась в Витебске в семье Вульфсон своей сводной сестры. Она имела пропуск только до Витебска, и требовалось получить следующий пропуск до Гомеля, на это потребовалась неделя, и за это время Бэра, как уже сказано, познакомил её с её будущим мужем Изей.

В 1920 году Фая вместо отпуска в Гомеле переехала в Москву, где находился Изя.

В Москве партийный брат Арон познакомил Фаю с сотрудницей МЧК (московская чрезвычайная комиссия), и та поселила её в своей агентурной комнате – 15 кв.м. в квартире №8 на пятом этаже дома, который потом стал называться 46-б по улице Горького. Туда же, оформив в 1922 году брак, переехал Изя. В этой комнате в 1925 году появился сын Мося, там же жила и домработница. Затем удалось переселиться на второй этаж того же дома в квартиру №2. Эта комната 32 кв.м. была не только больше, но и лучше прежней, её два высоких окна смотрели на 1-ю Тверскую-Ямскую, будущую улицу Горького.

Отступление о бабушке

Поскольку все дети оказались в Москве, туда переехала и Муся. Этому сопутствовала некая полукриминальная история, которую мне по истечении многих лет рассказала мама. После смерти мужа Левина бабушка Муся продала дом в Гомеле, приехала в Москву и разделила вырученные доллары поровну между сёстрами. Поскольку валюту полагалось сдавать государству и нарушение строго каралось, Фая до лучших времён прилепила банкноты к стене своей комнаты и заклеила их обоями. Когда стало ещё страшнее, она их сожгла.

Теперь я задаю себе вопрос, не потому ли она зимой 1938-39 годов, как раз когда отец был в тюрьме, затеяла обновление обоев в столовой? Она это проделала вместе со мной (поскольку комнаты очень высокие – 4,5 метра, клеилось два ряда обоев, внизу с рисунком, а верхний ряд однотонный светлый; именно я лазал высоко наверх приклеивать верхний ряд). Немного помогал, насколько помню, мамин друг, приехавший из Ленинграда.

Бабушка Муся была в молодости красива, а в старости благообразно-внушительна, религиозна; помню, как она молилась по книге с незнакомым мне шрифтом, стоя и обратив открытые перед лицом ладо-

ни в сторону света от люстры над обеденным столом. Жила она то у одной дочери, то у другой, больше у Розы, была очень выдержанным и мудрым человеком, помогала им попеременно при болезнях детей и прочем. Умерла у Розы, долго мучилась сильными болями от воспаления лёгких, ей делали уколы морфия, умерла, как сказано в медицинском заключении, от паралича сердца 07 апреля 1945 года в возрасте 84 лет. Из отрывочных разговоров у меня создалось впечатление, что имела место передозировка морфия, не исключено, сознательная, — избавившая её от мучений.

Незадолго до смерти она разрешила дочерям кремировать её тело, уверенно объяснив, что в это трудное время Бог её поймёт и простит (дочери же были неверующими). Так и совершилось, затем моя мать и я забрали урну из крематория на Шаболовке, вложили, обернув газетой, в авоську (от слова авось — плетёная сумка, названная так в конце 1930 годов) и поехали с ней на трамвае в Востряково на кладбище.

Смутное понимание неестественности происходящего врезало эту поездку в память.

На кладбище рабочие зарыли урну в ногах могилы Арона. Дочери заказали доску чёрного полированного камня с соответствующей надписью; её наклонно закрепили цементом над урной. Приблизительно в 1995 году доску украли, и я заказал перенести надпись о бабушке на белую мраморную доску над могилой Арона. Чтобы освободить место для этого, потребовалось стереть не знакомые мне слова, которые бабушка там написала сыну на иврит. Но они просвечивают.

Работа

И снова — о маме. В Москве Фая устроилась помощником бухгалтера в Госиздат (с 28.10.1921 по 10.08.1924). Там она видела многих писателей, приходивших за гонорарами (Маяковского, например); она посещала поэтические чтения, полюбила стихи, особенно символистов. Когда ей было приблизительно 90 лет, она неожиданно прочитала мне по памяти длинное стихотворение Блока, не помню, какое именно. Может быть, эта её склонность передалась в юном возрасте Мосе. Сохранилась тетрадь, куда он школьником переписывал стихи, для него много значили стихи из цикла о Прекрасной даме, я как-то видел, что он сидел у кровати мамы, и они обменивались мнениями о них. После его смерти она мне не раз говорила о душевной близости с

братом (как бы в укор мне и забыв о многочисленных несовпадениях с ним; я же заинтересовался стихами только в 1960-х годах, и это в меньшей мере касается символистов). Осталось немало листков и клочков бумаги с переписанными её старческой рукой стихами Гумилёва, Мандельштама, которые тогда снова стали понемногу доступны, а также стихами модных послевоенных поэтов.

Работа в Госиздате продолжалась приблизительно до рождения Моси и смерти Арона.

С рождения Моси и приблизительно до 1937 года родители держали домработницу-няню. В этом качестве выступали девушки из деревни. Некоторое время они служили у родителей и тем самым получали прописку в Москве, потом, освоившись в городской жизни, устраивались на какую-нибудь государственную работу, предоставлявшую общежитие.

После рождения Моси мама работала три раза, каждый раз кратко-временно.

Первый раз, пока отец был в тюрьме. Жене арестованного устроиться на работу было нелегко. Нашлась должность младшего бухгалтера в упаковочной мастерской. Сохранились два фото о подготовке мастерской к войне и об её участии в этом.



*Инструктор с
противогазом,
ученики с кон-
спектами.*

Второй раз мама работала с 25.09.1941 по 20.03.1942 бухгалтером-кассиром в челябинской бригаде Гипроцветмета. Третий раз служила корректором в 1947 году в том же Гипроцветмете: отец приносил до-

мой корректорскую работу, и она выполняла её с его участием. В результате, её общий рабочий стаж составил всего восемь лет, и она не могла получить пенсию. Только когда умер муж, она получила небольшую пенсию – за смертью кормильца.



*«Пром-кооперативное т-во,
1-ое Московское
упаковочное от-
деление»
на учении у входа
в своё помещение.
Все с противо-
газными сумками.
Мама стоит
второй справа.*

К здоровью

Смерть брата произвела на Фаю очень тяжёлое впечатление, она говорила, что с этого времени потеряла сон. Видимо, с тех пор она считала себя больной и, действительно, стала мнительной как в отношении здоровья, так и в отношениях с близкими. Хотя, может быть, мнительность образовалась в связи с арестом отца. Помню, что перед войной её недовольство мужем или детьми выражалось громким криком.

Кстати, не исключая, что именно с того времени я болезненно избегаю громких разговоров, шума, даже слишком громкая музыка мне не приятна. Теперь я порою бываю рад, что одно моё ухо плохо слышит.

Мама жаловалась на язвенную болезнь, бессонницу, гипертонию и сердце. Первое вполне понятно – лечить это тогда не умели, смягчали положение всякие знахарские диеты (знаю об этом не понаслышке), которых она внимательно придерживалась (и заодно с ней отец). Бес-

сонница находилась в замкнутом круге: невысыпание, сон днём, плохой сон ночью и т.д. Когда маме было лет 90 и она несколько раз упала в своей квартире, я позвал к ней толкового невропатолога, и на жалобу относительно гипертонии он неожиданно ответил: «Забудьте это иностранное слово, в Вашем возрасте гипертонии не бывает». (Не знаю, прав ли он.) По поводу сердечного недомогания я как-то позволил себе неделикатную шутку, озадачившую и как будто убедившую маму: «Люди с больным сердцем не доживают до твоего возраста». Мама любила и умела жаловаться, и за этим не всегда можно было разглядеть её жизнестойкость. Ей было за девяносто, когда она однажды, пожаловавшись на нездоровье, воскликнула мечтательно, безо всякой иронии: «Когда же я окончательно выздоровею?». На склоне лет маме была присвоена вторая группа инвалидности, означавшая нетрудоспособность. Она не раз находилась в больнице, но два раза вполне серьёзно.

Первый раз (по приезде из эвакуации в Москву) она устроилась к проф. Александрову в больницу Склифосовского на удаление фибромы матки – это и было причиной раннего возвращения в 1943 году. Этому предшествовали чуть не ежемесячные обильные кровотечения, при которых она лежала по много дней. В условиях сильного недоедания, недостатка простейшего белья и отсутствия ванной комнаты положение было тяжёлым. Помню все это хорошо, так как большая часть забот свалилась на меня. Из-за сердечной слабости не решились на общий наркоз, операцию делали под местным наркозом, делали долго, несколько часов. Но она выдержала. Потом я вместе с другом Робой приносил ей в больницу жалкие передачи. Завершил это дело мамин (вместе со мной) благодарственный визит к профессору домой, при котором она передала ему обещанные небольшие деньги и банку мёда, привезённого для этого с Алтая.

Второй раз мама попала в 1970-х годах в соседнюю к дому больницу из-за перелома руки. Свыклась там с повязкой, называемой «самолёт». Хотя было больно и неудобно, она, к удивлению близких, не жаловалась, была бодр – видимо, под впечатлением от тех несчастных, среди которых она там оказалась.

Мама придавала исключительное значение правильному питанию (укоряла меня, что мало ем фруктов, и при случае кормила ими меня) и длительному пребыванию на свежем воздухе. Однажды сказала: «Больше всего я люблю правду и свежий воздух».

Летом в наших комнатах с окнами на шумную и жаркую, пропахшую бензином улицу жить становилось трудно, и мама старалась на



На пороге дачи в Мамонтовке.

эти месяцы снять «дачу» в пригородном посёлке. Заметим, под дачей в то время подразумевалось совсем не то, что раньше, никакой не дом, а всего лишь комната, но при ней непременно терраса. Преодолевались немалые трудности переезда и затем быта. До войны ездили в Истру, Кратово, Красково, Болшево, после войны – в Клязьму, Мамонтовку. Каждый год, если средства и здоровье позволяли, родители осенью ездили на Юг – до войны порознь (как достать две путёвки сразу?) в дома отдыха и санатории, после войны вместе – много раз в Сухуми, потом в Друскининкай, в Крым, последний раз, уже через силу, – под Одессу.

Общение

Круг общения моих родителей, прежде всего – мамы, ограничивался старыми друзьями и родственниками.

Наиболее плотное общение было с семьёй маминой сестры Розы. Наряду с прочим этому способствовало то, что дома сестёр находились в пешей доступности. Наутро после ареста отца, мама с сыновьями отнесла к Розе те вещи, которые ей представлялись наиболее ценными, – дело в том, что не исключался следом за отцом арест его жены и отправка в детский дом его сыновей; к счастью, в данном случае этого не произошло. Именно к Розе мама уходила от мужа, когда ссорилась с ним. Через несколько дней он являлся туда с повинной, бывал прощён и уводил жену домой.

Она очень любила племянницу Юлю. Благонравие обоих, Юли и её брата Вовы, мама постоянно ставила в пример брату и мне. Ей было

одинок, и особенным укором для меня была постоянная телефонная связь в семье Рубиных.

С большим уважением мама относилась к Льву Борисовичу Трахтману, мужчине крупному и обходительному, а в преклонные годы постоянной телефонной конфиденткой мамы была Соня Хатимская – его жена и сводная племянница мамы.

Бывало, что я становился помехой отношениям мамы с сестрой Розой и племянницей Соней. Когда мама была обижена на меня, она жаловалась им, и у них не всегда хватало благоразумия не возражать. Тогда, мама возмущалась вдвойне, и следом за мной подвергались отлучению и они. Однажды по такому поводу мама не общалась с сестрой полтора года.

Наиболее безоблачными были отношения мамы с племянником Бэрой и племянницей Журой – оба сводные и оба ленинградцы.

Бэра был теплотехником, работал в ЦКТИ (центральный котлотурбинный институт) и создал научную брошюру, в которой представил теоретическое обоснование принципиальных преимуществ теплофикационных турбин.

Такая турбина не только вращает ротор генератора электроэнергии, но и отдаёт часть уже поработавшего в ней пара потребителям тепла.

Он может считаться одним из идеологов централизованного теплоснабжения (тогда мало кто предвидел связанные с этим практические осложнения). Он часто гостил дома у моих родителей, а зимой 1940-41 годов мама со мной гостила у него. Он был особенно интересен мне тем, что к притеснениям властей относился сардонически и интерпретировал притеснения жестом растирания ногтем вши и сопровождал жест словом «аквец». Бэра был закоренелым холостяком, но после войны женился на польской еврейке, оказавшейся в СССР в 1939 году. Где-то в 1950-м году таким евреям разрешили выехать из СССР в Польшу, а затем польские власти разрешили своим евреям убраться в Израиль. Так эта чета переехала в Израиль, и на этом связь моих осторожных родителей с иностранцем Бэрой оборвалась.

Жура же искренне верила в разумность сущего. Она занималась обслуживанием автоматики на одной из тепловых электростанций Ленинграда, выполняла это во всё время блокады города. Её внучка со своим мужем в начале 1990-х годов выехала в Германию, за несколько лет они преодолели там немалые трудности, стали вполне успешными

программистами, родили дочерей и вызвали к себе во Франкфурт на Майне своих родителей, т.е. дочь Журы с её мужем.

С другим племянником Нёмой тоже были очень тёплые отношения, он по своим военно-научным делам (в области очистки воды для промышленных установок, в частности – в военно-морских судах) часто приезжал в Москву гостил у нас, я пару раз останавливался в его семье во время командировок в Ленинград и т.д. Но однажды в 1970-х годах мама, испытывая затруднение с летним отдыхом, попросила Нёму принять её с отцом на терраске его дачи (на Выборгском перешейке). Это скромное проживание, вполне естественное с её точки зрения, не показалось таковым ему. Он ответил, что терраса не годится для жизни, а свободной комнаты на его маленькой даче нет. С тех пор отношения родителей с Нёмой были прерваны и навсегда. Но я не видел никакой его вины и даже однажды навестил его. Такое моё поведение маму оскорбило глубоко и на долго. Вообще, для неё была исключительно важна солидарность в обидах, будь то обиды на соседей-врагов по коммунальной квартире или на родственников.

Помимо родственников, вспоминаются ещё две семьи, близкие родителям.

Наиболее старая связь – с семьёй Давида Парнаса, друга отца по германскому плену. Он жил наверху громадного дома на бульваре у Воронцова поля. Их сын Виктор прилаживался после войны с моим братом. В конце 1940-х годов Виктор в числе многих был арестован за, как тогда это называлось, антисоветскую пропаганду и отбывал срок. В середине 1950-х годов он был отпущен на свободу, но дружба не возобновилась; у меня создалось впечатление, то ли Виктор был недоволен поведением брата, то ли наоборот. Так ли это и в чем выражалось, – не знаю.

Вторая связь образовалась в начале 1920-х годов, когда маленький еврей, имевший бородку а ля Чехов, и его крупная красивая жена Ольга Павловна наняли отца давать уроки их сыну Грише, который впоследствии стал теплотехником и работал в институте «Теплоэлектропроект» (я его там встретил, поступив туда в 1961 году). Эта милая семья на долгое время потеряла покой из-за того, что сын женился на их домработнице Марусе. И вправду, разница в их происхождении была заметна, однако они хорошо прожили долгую жизнь; впоследствии мама дружила с ней. Сестра Гриши стала оперной певицей (она пела Татьяну в гастрольном оперном театре) и вышла замуж за

Ляховецкого, инженера в бумажной промышленности. На шутки мамы относительно гастролей его жены он отвечал: «На мою долю хватает».

Мама смолоду хорошо знала, как могут выручить деньги, и стремилась иметь их про запас. Но насколько трудно было из отцовского заработка деньги накопить, настолько легко они терялись в силу внешних обстоятельств. История с бабушкиными долларами уже упомянута. Минимум три истории произошли позже с рублями. Суть была проста: власти выдавали населению намного больше денег, чем выручали от продажи продуктов по установленным ими же ценам; у населения, как и у моих родителей, скапливались деньги; развивался чёрный рынок и подпольное предпринимательство; власти предпринимали девальвацию и т.д. Первая из девальваций – в 1949 году, о которой все желающие знали заранее, но мало кто понимал, как лучше хранить деньги в сберкассе или дома. Мама тоже не знала правильного решения.

К концу

Пока все вместе жили на улице Горького, отъезд родителей на отдых открывал новые возможности для брата и для меня встречаться с друзьями и подругами. Так в 1959 году справляли последний день рождения брата. Вскоре после этого брат со своей возлюбленной Ольгой уехал в Крым и там навестил родителей; как мама потом рассказывала, пара была очаровательна, он в прекрасном настроении. Затем он отправился по командировке от ВТО в Махачкала смотреть и обсуждать спектакли, а на обратном пути самолёт рухнул, и брат погиб.

Так совпало, что, ничего не зная об этом, через пару дней в Москву вернулись родители. Мама легла на свою кровать отдохнуть с дороги, но по тому, что дома, помимо меня с женой Леной, оказался ещё кто-то из родственников, поняла, что случилось что-то плохое. Постепенно почти всё рассказали. Она промолчала и осталась лицом к стене. Потом вынесла всё: траурную церемонию в ВТО, крематорий...

После смерти отца мама жила одна, а когда ей стало слишком трудно и одиноко, я старался поселить у неё какую-нибудь женщину (в конце жили даже сразу две молоденькие швеи) для повседневной помощи и хотя бы минимального общения; ведь все ее подруги к тому времени уже умерли.

Когда в 1993 году Лена просветила Людмилу и меня относительно возможности уехать в Германию и мы собрались на случай неблагоприятного развития событий в России подать заявление в германское консульство, мама поддержала нас и с удовольствием присоединилась. Вот её два характерных суждения: первое – нас (евреев) нигде не любят, второе – там (в Германии) хорошая экология. Подали два заявления: я с женой Людмилой и мама. В марте 1996 года по почте пришло разрешение на всех троих, но говорить маме об этом было бесполезно – она уже не могла порадоваться, 16 апреля она умерла во сне.

О её смерти мне сообщили по телефону утром упомянутые девушки, жившие в это время у неё. Я сообщил об этом дочери Маше, которая как раз в это время оказалась в Москве, и с Людмилой приехал к маме. Следом приехала Маша. Я истерически плакал, Маша и Людмила утешали.

Вызвали районного врача, мама ей была хорошо известна, и она без всякого осмотра констатировала смерть от сердечной слабости. Призвали похоронную организацию, заказали ей всю процедуру, и очень скоро приехали двое мужчин в затрёпанных черных костюмах и на простыне отнесли тело вниз для переправки в морг соседней больницы. Через пару дней у морга собрались все близкие, вывезли открытый гроб с телом. Катафалк с ещё одним автобусом и парой автомобилей отправился к загородному крематорию. Там простились.

Урна с прахом похоронена в Москве на Востряковском кладбище вместе с урной старшего сына и мужа. За несколько лет до этого мама увидела, что надпись об отце и его фото помещены на памятной плите сына так, что оставлено аналогичное место для надписи о ней и для её фото. Она сардонически ухмыльнулась своей догадке. Теперь перед памятником зарыто три урны.

Вот мамины любимые выражения:

Детей учат, когда они лежат поперёк кровати, а не вдоль (высказывалось как упрёк мужу, не склонному, как и она сама, к эзекуциям).

Яйца кур не учат.

Дают – бери, бьют – беги.

Бережёного Бог бережёт.

Слово – серебро, а молчание – золото.

Что имеем, не храним, а потерявши, плачем.

Глава 3 **О брате**

Начало

Моисей Израилевич Иофьев (31.08.1925-23.10.1959) родился в Москве, там и жил почти все время в квартире родителей. Среди родственников он – Мося, среди друзей – Матвей или Мотя, иногда использованный литературный псевдоним – М. Алексеев.

В раннем детстве долго болел скарлатиной, она протекала необычно тяжело и долго, был уже совсем плох, когда один из призванных родителями врачей догадался, что болезнь осложнилась воспалением уха. Удачно сделали трепанацию. Он выжил, но остался очень значительный порок сердца, и мальчика до четырёх лет пришлось катать в коляске. Он имел астеническое сложение, был худ и довольно высок, и каждый удар сердца был ясно виден.

Школа: в Москве №128 на 2-ой Тверской-Ямской (до 1941года), в Челябинске (осень 1941 – лето 42), в посёлке Шушаково (лето 1942 – конец 1943) – первые две четверти десятого класса и досрочное получение аттестата об окончании школы в связи с призывом в армию (конец 1942).

В Перми благодаря работе на лесоскладе под осень 1941 года представилась возможность сделать хоть что-то приятное нашим хозяевам, к которым нас подселили как эвакуированных. Мося и я с ним отправились в воскресный день на склад, он там взял одноосную повозку, мы нагрузили её древесной щепой, как-то связали гору щепы с днищем и за оглобли потащили все это сооружение домой. Улицы оказались неровными, предприятие – нелёгким, я мало чем мог помочь, и это тоже злило брата. Щепка не раз сползала с повозки, мы останавливались, из-за заборов с любопытством выпархивали девушки посмотреть на редкий аттракцион, и брат вступал в галантные разговоры с ними. Довезли, и хозяева были рады хоть такой топке для их голландской печи. Эта замечательная обитая железом колонна красовалась чуть в стороне от середины их парадной комнаты, в тот момент единственной оставшейся им.

В Шушаково я однажды заболел тяжёлой ангиной. Сквозь дрёму я поглядывал в угол, где стояла недавно выточенная из доски шпага, воображая будущие сражения в духе недавно прочитанной «Юности короля Генриха IV». Видно, брату тоже пригрезилось что-то подобное, и он попросил моего разрешения взять шпагу: он направлялся с друзьями и подругами на гору над рекой Ульба – они её называли сопкой любви. Я лежал с высокой температурой и не нашёл предлога отказать.

Для сверстников брата это было особенное время – шла война, они доучивались в школе, но много слышали о героизме, сами ждали призыва в армию и, видимо, исподволь готовили себя к этому. С эстрады клуба молодой парень (в завидном для его сверстников настоящем костюме!), романтически пел «Бьётся в тесной печурке огонь...». Вместе с тем, как у сестёр Чехова, постоянно звучала тема «в Москву, в Москву». Присочиняли к известным мелодиям собственные слова.

Приведу немного запомненное:

Нам вода – напитки,
нам макуха – сладость,
наши дамы прятки
и приносят радость.

А порою муку,
да ещё какую!
Так пожмём им руку
и нальём другую

Выпьем за три грации,
за горы Алтая!
Жизнь эвакуации
милая такая!

.....
и в Москве, конечно,
встретимся с тобою!

Упомянутая макуха – ставшийся после отжима масла спрессованный жмых подсолнечных семечек, предназначенный в обычной жизни для корма скотины. По виду она похожа на плохо измельчённую халву, но халва не так отжата, в ней нет шкурок семечек, и она маслянистая и сладкая!

Стремление скорее вырасти из подростка в решительного мужчину заметно по некоторым поступкам брата. Говорили, что он ходил по перилам моста через Ульбу. Мост, подвешенный на двух канатах, при движении автомобиля заметно качался, деревянные перила узкие, и довольно далеко внизу сравнительно гладок лишь небольшой участок реки, но брат не умел ни прыгать в воду, ни нырять, ни плавать. Ещё – он рассказывал сам, что попросил разрешения у забойщиков свиней заколоть свинью и успешно сделал это.

И вот – захотелось покрасоваться со шпагой. Проснувшись наутро, я не увидел шпаги. Брат признался, что он, играя с ней, уронил её с обрыва над Ульбой, и она зацепилась за что-то довольно далеко от верха, так что достать её невозможно. Я горестно зарыдал. Брат через

пару часов снова пошёл на то место, долез до шпаги и доставил её мне в утешение. А ни о каких средствах подстраховки я не слышал, он вряд ли знал о таких возможностях, да и не был настолько обстоятелен в практических делах.

Из Шушаково в конце 1942 года брат был призван на военную службу. В связи с призывом справку об окончании школы выдали не дожидаясь конца учебного года, и как имеющего среднее образование его направили в военное училище, расположенное в Семипалатинске, где он должен был получить звание пехотного лейтенанта. Пробыл там несколько месяцев, после учебного марш-броска возникла декомпенсация порока сердца, вследствие чего он получил полное освобождение от воинской службы по состоянию здоровья (как тогда говорили, белый билет).

После отъезда родителей из Шушаково в Москву сторожил по ночам картофельное поле сотрудников Гипроцветмета. У его шалаша собиралась приятельская компания, благо картошки можно было напечь вдоволь. Осенью 1943 года выкопал и продал всю нашу картошку и зимой приехал в Москву, пережив по дороге массу приключений: как рассказывал, висел со своей поклажей на подножке, дружил с проводниками, расплачивался купленными за картошку продуктами, которые вёз в Москву.

К профессии

В Москве в 1944 году кратковременно учился в разных технических институтах и неудачно пытался поступить в ГИТИС на режиссёрский (или на актёрский?) факультет.

В 1944-45 годах служил рабочим сцены, мебельщиком в Камерном театре. Подружился там с разными людьми. Нас посещал актёр Новиков, одна из работниц театра стала подругой и мамы. Она учила меня танцевать.

В 1945-50 годах учился в ГИТИС на театроведческом факультете и в 1947-48 годах начал работать над статьями.

Он постоянно пытался найти работу в Москве, которая хоть как-то была бы близка полученному образованию и склонности. На своё бедственное положение даже письменно пожаловался В.М. Молотову, тогда куратору «культуры» страны: мол, даже не имею возможности подписаться на «заём» (это значило радостно согласиться отдать госу-

дарству в займы, но без отдачи месячный, а то и двухмесячный заработок); ответа не получил.

Многие, ценя его талант или просто по дружбе, пытались помочь ему. Но все попытки оказались безрезультатными.

След одной из попыток такого рода можно увидеть в двух письмах Марии Ивановны Бабановой, замечательной актрисы, которую он очень ценил. Она, имея высший доступный артисту чин, служила в театре им. Маяковского, где главным режиссёром был Н.П. Охлопков.

«Киев 17/VIII -58г

Дорогой Мотя –

С некоторым опозданием отвечаю Вам потому, что, во-первых, я не играла в том театре, на который пришло письмо, и, во-вторых – не скоро встретила Н.П., который живёт в санатории и приезжает изредка в Киев.

Я передала ему Ваше предложение, но он сразу же мне сказал о том, что будет ждать возвращения нашей зав. лит. частью, кот. на время уехала в Польшу с мужем и вернётся к зимнему сезону. Вот и все по интересующему Вас вопросу. Очень жалею, что не вышло это дело, но думаю, что нет ничего в мире, что оставалось бы неизменным, и надо надеяться и ждать и все же «действовать».

Если что-либо узнаю о такой работе в других театрах или если про изменения у нас (ведь, все бывает) – то тотчас же извещу Вас непременно.

Примите мой самый сердечный привет и благодарность за память.

М.Бабанова»

«Дорогой Мотя,

игрою судьбы я получила Ваше письмо с чрезвычайным опозданием – почему не знаю; впрочем, если считать, что 2 письма, посланные мне в Киев из Москвы, вернулись обратно, «за ненахождением адресата», то удивляться не приходится.

Итак, отвечаю Вам на Ваш вопрос и прошу простить за невольное прегрешение – запоздалый срок. Впрочем, по существу это не изменило дело, ибо дело обстоит так, что Н.П. никого не хочет брать, а хочет ждать ту же Попову, кот. он был доволен и кот. должна вернуться (она уехала с мужем в Польшу). Вот, милый Мотя, какие дела.

Очень сожалею, что не могу ничем помочь, но такова уж участь всех работающих в театре. Мы безгласны. Думаю все же, что со временем и Вы пригодитесь в театре, если не в этом, то в другом, если что узнаю по приезде в город – сообщу.

Примите сердечный привет

М.Бабанова»

В результате он был рад стать преподавателем основ искусства в Московской областной культурно-просветительной школе (техникум по подготовке клубных работников) города Егорьевск под Москвой – 1951-55. Со многими учащимися брат дружил. Не раз привозил их в Москву, показывал картины в музеях, приводил домой чай пить. Денег на проезд по железной дороге ни у кого из них не было, ехали с

приключениями, зайцем – подобно описанному в рассказах Дж. Лондона. Чтобы перебегать из вагона в вагон и прятаться в туалетах, брат завёл четырёхгранный ключ от дверей.

В одной из поездок брат показал ученикам в Ленкоме спектакль по пьесе А.Н. Арбузова «Годы странствий». Эту же пьесу поставил с ними в их культпросветшколе, сам сыграл главную роль.

Это был его не первый актёрский опыт. Во время 1940-41 учебного года в школьном зале для физкультуры по поводу какого-то праздника был устроен вечер самодеятельности, на котором старшие школьники представили две одноактные пьесы. Одна – авантюрная история, в финале которой не то спаситель, не то злодей завершает действие тем, что вынимает шпагу из своей трости. Этим персонажем был вполне убедительно для меня мой брат. Вторая сцена игралась по смешному рассказу Чехова. Я впервые видел театральное представление, и первая вещь меня абсолютно захватила своей жёсткой интригой, а во время второй я так хохотал, что забыл, кого брат изображал в ней.



Брат имел широкий круг знакомств, со многими приятельствовал, с некоторыми дружил, последнее время помимо коллег – с Алексеем Гастевым (искусствовед), Анатолием Злобиным (писатель), Александром Володиным (драматург), Георгием Владимовым (писатель).

Со Злобиным пытались написать сценарий для кино. В нём молодые люди находят выход из тупиков жизни в решении начать её заново, отправившись, как тогда призывало руководство страны, «поднимать целину». Авторам казалось, что такое патриотическое решение персонажей сделает их сценарий проходным.

Вот сохранившийся отрывок из сценария.

«Шестеро наших героев занимаются после консультации в аудитории. Сергей стоит у доски, пишет на ней даты жизни Л.Толстого.

– Я так завидую Серёже, говорит Наташа. – Если бы я так знала материал.

– Сергей уже готовый педагог, – говорит с иронией Геннадий. – Ему и в институт не надо. Разве только научиться у доски держаться.

– Мне в институт очень надо, – говорит Сергей, не заметив иронии. – Я всему колхозу слово дал.

Алла подбадривает подругу:

– Не горюй, Наташа, знания это ещё не всё. Есть и другие пути.

Геннадий молчаливо соглашается с Аллой. Оба они смотрят на своих товарищей несколько свысока, считая, что их дела уже устроены.

– Да, хорошо было в школе, – задумчиво произносит Коротков. – Учителя боялись учеников, как бы мы двойку не схватили. Кончился золотой век. Теперь никому нет дела, знаешь ты или не знаешь. Одна надежда – на блат. Генка, неужели твой отец тебе не поможет. Ему только трубку снять...

– Дурак ты, Славка, – равнодушно говорит Геннадий. – Мы же договорились: об отце в институте ни слова.

– Знаете, ребята, о чём я мечтаю, говорит мечтательно Коротков. Все выжидательно смотрят на него.

– ... чтобы Генка засыпался.

Немая реакция. Геннадий с усмешкой глядит на Короткова.

– Тогда мне легче будет проскочить в это заведение, – поясняет Коротков.

В шутке Короткова есть доля горькой правды. Всем немного неловко: каждый ловит себя на мысли, что и он может желать несчастья своим товарищам.

– А я, если не попаду, то в Москву-реку, – говорит решительно Николай.

– Ну, вот и договорились! – замечает Геннадий. – Итак, что у нас после Толстого? Сергей закрывает учебник, который он читал всё это время и подходит к доске.

Неожиданно раскрывается дверь, и в аудиторию входит невысокий коренастый человек в тёмно-синем костюме. Он с улыбкой смотрит на молодёжь, подходит к столу. Видя недоумённые взгляды, говорит:

– Василий Тимофеевич Востряков.

– Давно мечтали познакомиться, – говорит с усмешкой Геннадий.

– А Вы, собственно, откуда, товарищ? – спрашивает Николай.

Востряков добродушно улыбается:

– Не будем спешить, молодые люди. Вы хотите стать педагогами. А я хочу сделать вас людьми, – видя общее возмущение, Востряков невозмутимо продолжает. – Да, да, товарищи, я всё знаю. Ведь вы же всё равно не попадёте в институт, ребята. Вот вас здесь шестеро. Один, от силы два попадут. А остальные? В Москву-реку? Да, да, и это знаю: все провалившиеся хотят в Москву-реку. В прошлом году там выловили двадцать тысяч таких, как вы. И представьте, какое счастье, ни один не утонул. Серьёзно, ребята, зачем бросаться в реку, когда»

В летнее время 1952-1957 годов брат работал инструктором водного туризма на туристической базе «Лисицкий бор», что на левом берегу Волги 30 км ниже Твери. Туда его устроил его друг по ГИТТИСу Слава Семечкин (после окончания института служил в Министерстве культуры), уже работавший там. Раз приблизительно в неделю-две он должен был организовать и провести путешествие (как тогда военизировано говорили, – поход) продолжительностью от двух-трёх дней до недели. Плыли по Волге и её притокам на четырёх-шести крепких

лодках с двумя парами хорошо загребаяющих ясеневых весел и рулём – фофанах, по четыре-пять туристов в лодке, которые гребли сменами по двое-трое зараз. Кроме того, – дежурства по лагерю и лекции для туристов об искусстве. Мизерная оплата этой работы едва покрывала летние затраты, но давала массу впечатлений.

В письме родителям из Лисиц: «Как всегда на базе чудесные отношения. Когда я не в Москве, я чувствую себя очень спокойно. Но в Москве я жду всегда чего-то очень плохого. Кроме того, меня утомляет город. Очень жаль, что моя специальность диктует необходимость жить в столице.»

Чего плохого он ждал? Ареста или, может быть, вызова к следователю на допрос, маскирующийся под беседу.

Фестиваль молодёжи, устроенный в Москве в 1957 году, был немыслимым праздником: люди встречались с иностранцами всех цветов и почти беззаботно беседовали с ними, поили чаем (такое было и в семье моей жены Лены) или просто приветствовали их. Брат, моя жена и я стояли на площади Маяковского, и, оглябая нас, от Белорусского вокзала с улицы Горького вниз на Садовую в сторону Парка культуры и Лужников двигалась процессия больших открытых грузовиков, в кузовах которых стояли участники фестиваля. Ярко одетые разноцветные люди, танцующие и поющие, приветствовали нас с ярко раскрашенных машин, собравшаяся толпа в ответ приветствовала их – всё это создавало атмосферу счастливого праздника. Праздника неожиданного и нежданного, ведь всего 14 лет назад там же люди (и я тоже) сурово наблюдали тихое шествие немецких военнопленных. И тогда брат сказал мне, мол, как хорошо, что в эти праздничные дни ареста на улице можно не опасаться.

В систему его опасений Лисицы тоже вошли, но особенным образом. В четвёртой части книги помещены два рассказа брата, а всего он написал их три. Третий он среди своих бумаг не сохранил, не исключено, что из осторожности рукопись рассказа уничтожил, но мне его читал, и я запомнил его ключевую ситуацию. Герой рассказа (не помню, был ли он написан от первого лица) возвращается с группой туристов из лодочного похода. Гребут вверх по Волге к Лисицкому бору, и в километрах десяти от цели, на середине реки напротив знаменитой церкви в Городне он видит фофан турбазы, а, подплыв ближе, узнаёт в нём Валью (не помню, названа ли она была именно так, но имелась в виду именно Валя – медицинская сестра турбазы, благодетельная и симпатичная подруга упомянутого Славы). Валя сообщает, что вы-

плыла навстречу, чтобы предупредить его: на турбазу приехали за ним двое каких-то из «органов» (так называли любую организацию, способную отправить в тюрьму).

Вместе с тем он бравировал «и бездны мрачной на краю». Однажды в тесноте вагона метро он затеял со мной довольно громкий разговор на нецензурную тему, но не привычными газетными словами, а витиеватыми эвфемизмами. В этом опыте чуть прикрытой вольности кто-то всё-таки учуял крамолу и стал кричать против антисоветчиков. К счастью, поезд остановился, и мы быстро исчезли в толпе на платформе.

Он искренне увлекался женщинами, чаще и как будто охотнее простутками. Им нравился и нестандартными беседами на равных, и уважительным товариществом любовных отношений.

Длительные привязанности возникали, однако, к иным женщинам. С его сокурсницей Кирой он дружил долго, помогал ей сочинять статьи, был близко принят в её родителями, и наши родители были рады её визитам. В ней была воспринятое от её матери изящество, стоило ей присесть, как-то боком, переплетя достойные созерцания ноги, и комната будто освещалась её оживлённой приветливостью. После окончания института она получила литературную службу при Большом театре, а он оказался безработным. Неравенство в жизни наложилось на различие в её восприятии.

Своих подруг, насколько мог, не оставлял в беде, и они не оставались в долгу. Дважды порывался жениться, но родители отказывались принять в дом его вдруг возникавших возлюбленных, а больше жить было негде.

В Егорьевске этого препятствия не стало: он снял большую комнату с отдельным входом и туда привёл жену. Случилось так. Он сопровождал группу учеников на уборку картошки, и, когда они обували свои резиновые сапоги перед первым выходом на поле, увидел девушку, странно не подходящую осеннему картофельному полю. Роза натягивала коротенькие ботики, сапог она не носила. Скандальность ситуации, капризность её хриповатого голоса, безыскусность манер и завивки, утончённая ладность молодости, соединённая с долей наивного нахальства, — не могли не заинтересовать его напоминанием, например, о Манон Леско.

Однако, его мизерный заработок преподавателя техникума, не укоренённого в городе, не имеющего своего жилья, делал жизнь с женой,

мягко говоря, трудной. Чтобы представить положение конкретно, цитирую его письмо родителям, доставленное им Розой.

«Дорогие папа и мама!

Роза объяснит вам подробнее про наши дела, я же напишу всего несколько слов.

Живём хорошо, но одно обстоятельство всё время доставляет беспокойство. Нужно нам устраивать свадьбу. Нужно это и для розиной матери, которая на неё обижается, даже с ней не разговаривает, и для родных её, и для всех окружающих. Здесь так принято, и без свадьбы наш брак как бы считают недействительным. Причём самое удобное устраивать на 1 мая, т.к. расходов меньше (вроде вечер не специальный) и к месту, и потом мы уже давно живём вместе, и дальше тянуть нельзя. Я думал отложить до 1-го июля, но не получается никак.

Конечно, ни мне, ни Розе этого не хочется, но ничего не сделаешь. Даже самые бедные люди устраивают свадьбы. Мы решили пожертвовать на это дело мою получку за отпуск, а пальто купим на деньги, что заработаем в Лисицах. И вот я прошу вас — одолжить нам до 1-го июля, т.к. мне негде взять, а 1-го я всё, что должен, до копеечки, честно отдам. Я получу 2000 рублей (примерно, чуть больше), и расплатиться мне хватит. На свадьбу мне надо 1000 рублей.



С женой Розой, 1954 год, на Волге напротив турбазы «Лисицкий бор».

Продиктуй ей по телефону это письмо, если можно, сейчас же, а Роза передаст мне, что она скажет. Её телефон К-7-71-32. Попроси, если хочешь, Бориса, или пусть Роза позвонит.

Напишите ответ. Целую. Мося.»

Если есть такие деньги и можете одолжить, прошу — одолжите. Нужны они, конечно, заранее.

Захотите ли вы приехать? Приедет ли Борис?

Не смог приехать, т.к. очень занят подготовкой спектакля, репетирую по воскресеньям. Напишите ответ. Что нового в Москве?

Мама, очень прошу, позвони Марии Васильевне и проси её прислать на адрес школы, на имя директора следующее письмо:

«МостЭУ ВЦСПС просит направить для прохождения производственной практики в качестве культработников турбазы «Лисицы» студентов II курса Павлову и Фролову. Павлова зачислена в качестве старшего культработника, Фролова младшего. Наряду с работой в турбазе, Павлова и Фролова смогут выполнять задания по практике в сельском клубе села Лисицы. Просим обеспечить их явку с 25-го мая сего года.»

Немного поясню.

Даты на письме нет, видимо, оно написано в конце зимы 1953 года.

Мария Васильевна Палладиева – старший инструктор турбазы, энтузиаст своего дела, пожилая женщина, очень ценившая брата. Она написала вместе с ним книжку о турбазе.

Из турбазы он написал родителям:

«Роза сейчас работает диспетчером, это довольно ответственное дело, но она с ним справляется хорошо. Живём мы дружно.»

За работу она получила питание и, вероятно, незначительную плату.

Я в это время на турбазе не был.

При очень простом угощении на свадьбе скучно не было – ученики этой школы готовились стать работниками клубов, профессиональными развлекателями, и своих умений не скрыли. Преподаватель музыки играл на баяне. Ученик Гена, прозванный Тарзаном за свою мощную статью и диковатую внешность, спел под гитару простенький медленный вальсок:

Спит деревушка,	Лишь тихо мяукает кот во сне
Где-то старушка	Да ветер надсадно свистит в трубе.
Ждёт-недождётся сынка,	Спи, успокойся, шалью укройся,
Полночь уж близко,	Сын твой вернётся к тебе.
Старые спицы,	
Мелко дрожат в руках.	

Получилось у него музыкально, внятно, без лишних слёз.

Позже он был приглашён братом в Лисицы работать инструктором туризма. Под его руководством я однажды участвовал в плаванье вверх по Тверце.

Розины родители на свадьбе присутствовали, наши же не то не одобряли этой женитьбы, не то обиделись, что свадьба не при них, и не приехали.

А благополучие оказалось недолгим.

Уже 1-го ноября 1954 года он пишет родителям:

«С Розой я не живу и, очевидно, жить не буду. ... Конечно, вы будете меня упрекать, но я скажу на это, что женился по большой любви, такая один раз бывает в жизни, и ужиться мне с ней было очень трудно. Если бы встал этот вопрос ещё раз, я бы опять на ней женился. Я всё равно считаю, что образование, воспитание её здесь не при чём. Но, конечно, у неё ужасный характер и поведение. Я тоже не идеальный, но к ней я относился со всей душой и, если не получилось семейной жизни, не считаю себя в этом виноватым. Да и все окружающие винят не меня.

М.б. вообще моё поведение, образ жизни, мысли привели меня к этому результату – допускаю. ... В отношении дальнейших планов моих – я думаю только о том, как бы перенести всё достойно, т.к. мне, конечно, сейчас очень-очень тяжело. Во-первых, я её любил, во-вторых, мне очень хотелось семейной жизни.»

Суд развёл их моментально: никаких препирательств не было, оба они объявили, что не сошлись характерами. Слышал, что позже она снова вышла замуж, как будто за венгра.

25-го января 1958 года он пишет родителям о жизни в Егорьевске:

«... жизнь здесь такая, что все деньги уходят, а сам остаёшься голодным, купить нечего и варить некогда.»



В непогоду.

В 1958 году он не видел, куда бы летом ненадолго вырваться из Москвы и, поколебавшись, решил, наконец, отправиться втроем, со мной и моей женой Леной, в небольшое путешествие. Взяв лодку и немного снаряжения на турбазе «Лисицкий бор», поплыли вниз по Волге, по местам, хорошо ему знакомым. Получилось не очень счастливо – несимметрично, и брату не хватало событий. Правда, одно стоило многих: при большой встречной волне упрямо гребли вперед и



Разбили лагерь на левом берегу напротив Карачарово.

чуть не утопили лодку, а с ней и себя – выплыла бы только Лена, брат плавать совсем не умел, я плавал очень плохо.

Критик и гибель

В 1955 году работал (символически) в качестве искусствоведа в Художественном фонде. Первая опубликованная статья – 1956 год.

В автобиографии, приложенной в 1957 году к заявлению на приём в Союз журналистов СССР, брат сообщает: «С 1956г. занимаюсь только литературной работой». (Был принят, как будто, в группком этого Союза.)



Беседует в театре

В 1957 году журнал «Культура и жизнь» привлекал его к работе в качестве внештатного литературного сотрудника. Аналогично в 1958 году – журнал «Новый мир». В 1957-59 годах ездил в командировки от ВТО в Саратов, в Архангельскую область, на Северный Кавказ. Делал это, конечно, ради заработка, но и не без интереса знакомился с творчеством и людьми провинциальных и тем более национальных театров, помогал им советами, писал о них.

У брата был слабый музыкальный слух. Сюжетную музыку, однако, любил, о чём говорят его миниатюры о Вертинском и Шульженко, опубликованные в книге. Ему особенно нравился романс, заблудший к нам откуда-то на пластинке. Недавно нашёл его в Интернете.

Он назван «Всё впереди», напомним его текст:

Прочь недобрые тёмные думы,
На меня без укора гляди.
Расставаясь, не будем угрюмы,
Что бы ни было, всё впереди.
Не хочу я, чтоб новая складка
Возле губ твоих милых легла,
Чтоб ночами бродил ты украдкой
У обжитого сердцем угла.

"Все проходит", - твердил ты бывало,
Так не думай сегодня о том,
Как вчера я тебя провожала
Со слезами о счастье былом.
Отгони же ненужные думы,
По-хорошему, милый, гляди.
Расставаясь, не будем угрюмы,
Что бы ни было, всё впереди.

Этот монолог был спет до войны Изабеллой Юрьевой, почти проговорен, и, брату казалось, проницательно обрисовал чувство жалеющей женщины, благодарной за пере-

житую близость. Любопытно, как эта ситуация отличается от фокстротного прощания бодро-рациональных людей 20-х или начала 30-х годов: «Случайно встретясь с тобой на матче, / Мы разошлись, быть может, навсегда, / Но это ровно ничего не значит – / У всех свой путь, мой друг, у всех своя судьба».

У вечернего костра пели разное, в основном – озорное, лирическое, а так называемые массовые песни не шли. Кстати, где-то в 1954 году там я услышал насмешливые куплеты блюза «Сен-Луи» о колхозе и его председателе. Он провозглашал такие, к примеру, боевитые заклатья: «кубери свой штык, /сказали мы, /твой штык стоит /у нас на пути»; «а у нас есть правда, /у нас есть честь, /и бомба атомная /тоже есть».

Только в компаниях, совсем чуждых беседе, приходилось слышать, что «чужой земли мы не хотим ни пяди, / но и своей вершка не отдадим», или о том, как «весёлый и хмельной» Стенька в угоду соратникам для «матерь-Волги» «не пожалел» пленной княжны, а потом «грянули удалую за покой её души».

Несмотря на порок сердца, брат хорошо и выносливо грёб на лодке двумя вёслами, но двигателем было, вне сомнения, самолюбие, а не сила.

Он ценил стихотворение Р.Киплинга «Заповедь», в нём есть такое четверостишие (в переводе М.Лозинского):

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: "Иди!"

Однажды он даже хвалился, что вечером проплыл один на фофане 10 км вверх по Волге до старинной крепости Орша, погостил у тамошней учительницы и под утро тем же способом вернулся в Лисицы.

Бранных бессмыслиц, тем более матерных, не употреблял, в его распоряжении было много слов и интонаций, чтобы выразить пренебрежение или негодование. Но оценить брань мог вполне.

Вот пример. Для оканчивающих институт студентов было необходимо провести месяц в условиях военного лагеря. Дело было в 1955 году в полку истребителей под Тукумсом (Латвия). Приехав оттуда, я пропел брату куплет, который, не скрывая бранных слов, пелся там в строю вместо или одновременно с песней о том, что «за вечный мир в последний бой летит стальная эскадрилья»: «Имели в рот мы старшину, / И член сосал у нас комроты. / Довольно всякому дерьму / Гонять нас строим как пехоту!» Мой слушатель развеселился.

Хотя органической потребности в алкоголе у брата не было, выпивал он часто, мог выпить довольно много, но внешне не пьянел, только ночью заснуть не мог, просил меня с ним разговаривать – мы лежали голова к голове, он на диване, я на раскладных козлах. Одно время

он верил, что сочинению текста помогает лёгкое подпитие, но где граница перехода к нелёгкому?



В вестибюле гостиницы ждёт встречи с поэтом Гамзатовым.

Однажды, в начале 1950-х годов, войдя в комнату, я застал такую сцену. На диване сидит незнакомая мне девушка, он сидит на стуле напротив, беседуют, а между ними ещё стул и на нём почти уже пустая бутылка водки и на блюде закуска – пара оставшихся долек мандаринки.

Но последние годы он старался меньше пить и курить. Чувствовал, видно, ухудшение здоровья, и повлияла глубокая любовь. Её звали Ольгой. Довольно крупное сложение и простая симпатичная внешность сочетались с образованностью, воспитанностью и вкусом; она много знала о театре, они, видимо, понимали друг друга.

Уже в 1958 году стало ясно, что оттепель заканчивается и для него возможность публиковать работы подходит к концу. Дальнейшая профессиональная жизнь, а с ней и личная лишились перспективы, брат стал думать о самоубийстве, однажды пытался обсудить со мной способы. Однако, ответ представил случай.

23 октября 1959 года он возвращался в Москву из Махачкала, где был в командировке от ВТО. Самолёт ИЛ-14 сделал две промежуточные посадки, и из этих аэропортов он по телефону извещал Ольгу о своём приближении, видно, радовался предстоящей встрече и доступу к таким замечательным средствам передвижения и связи. А из Внукова звонка не последовало.

Самолёт, не подготовленный к неожиданно сильному для этого времени морозу, обледенел, при полёте к аэропорту рухнул в лес и сгорел.

После долгих скитаний по разным никчемным организациям мне удалось пробиться в диспетчерскую Аэрофлота, что тогда была на



*Памятный камень над
захоронением*

на захоронении поставили памятник – плиту тёплого цвета, с надписью и фотопортретом.

улице Разина, и там надежда исчезла окончательно: подтвердили факт крушения и показали скорбный список пассажиров, где я увидел нашу фамилию.

На следующий день в сопровождении кого-то в комнату вошла Ольга. Она была как будто в трансе, упала на колени перед диваном и, закрыв лицо ладонями, с рыданием, с воем уткнулась в него. Такой открытости я не видел ни до, ни после, а тогда этот напор её чувства так поразил меня, что с этого момента снялось оцепенение и ушёл спазм от горла.

Урна с прахом похоронена в Москве, на Востряковском кладбище, участок 39-9, не вдалеке от захоронения его дяди Арона и бабушки Муси. На гонорары за статьи в журналах, которые он не успел получить,

К отзывам и воспоминаниям

Брат был не ординарной личностью и не ординарным профессионалом. Я здесь попытался показать только те стороны его жизни, которые, казалось бы, не связаны с его работой художественного критика. Своё понимание жизни он выразил наиболее полно своим пристрастием к определённым типам творцов и персонажей, своим пониманием ценности совершенства работы и откровенно лирическими фрагментами своих статей.

В кругах, близких к художественной критике, о нём вспоминают, и за чайным столом рассказывают увлекательные легенды, они опираются на факты, но и украшаются живописными подробностями, не всегда деликатными и притом далёкими от достоверности. Отзвуки

этих интересных, весёлых застольных бесед, к сожалению, проникают и в печать. Надеюсь, что приведённые выше скупые сведения о брате удержат в границах правдоподобия хотя бы публикации.

Ограничиваюсь изложенным, потому что впечатления о его работе, а это главное, и тем самым о его личности проникательно записали некоторые почтенные люди его профессии. Эти материалы представлены в следующей главе.

Прежде всего, нужно напомнить вводную статью к книге «Профили искусства», написанную его другом и коллегой Борисом Зингерманом. Затем, о книге опубликовано два отзыва, приведённые в следующей главе. Первый принадлежит Нателле Тодрия. Она, насколько помню, была знакома с автором книги, одновременно с ним училась в ГИТИС. Второй написан Борисом Владимировичем Алперсом, профессором ГИТИС; он опубликован журналом «Театр» в числе других мемориальных материалов через 20 лет после смерти Алперса. В ней он в 1965 году кратко, для себя, но тщательно зафиксировал свои впечатления от той же книги.

Помимо этих уже опубликованных отзывов, публикуется письмо Корнея Ивановича Чуковского, написанное по прочтении рукописи ещё не изданной статьи брата о новеллах И.Бунина.

Следом помещены тексты, написанные другом и коллегой брата Вадимом Моисеевичем Гаевским. Они значительны не только в связи с братом, но и гораздо шире: имеется в виду характеристика того времени, нравов, подхода к явлениям искусства. Замечу, всё это вовсе не ушло безвозвратно.

С Гаевским, думается, интересно познакомиться не только по его собственным текстам. Решить эту задачу позволило опубликованное поздравление в связи с его 75-летием. Оно удачно характеризует юбиляра и, кроме того, брата и окружающую обстановку. Выдержки из этого поздравительного текста предваряют тексты самого Гаевского.

В четвёртой части книги помещены ранее не опубликованные работы брата и статьи из журналов, не вошедшие в книгу «Профили искусства».

Глава 4

Отзывы и воспоминания о М.Иофьеве

Письмо Корнея Чуковского относительно статьи об И.Бунине

«15 авг. 58

Как я благодарен Вам, дорогой Моисей Израилевич, что Вы дали мне прочитать Вашего «Бунина». Вначале я восхищался только отдельными словами, наблюдениями, но потом, когда я дошёл до того места, где Вы говорите, что у позднего Бунина в новеллах та же погибельная любовь, что в стихотворениях Блока – романтическая (включая «поругание святынь»), максималистская, «любовь это то, что герои теряют», – чудесно сказано. «Самодовольный пессимист» и того лучше! «Бунин пишет о первой встрече, первой близости» – метко, впервые подмечено.

Вторая глава, где Вы говорите о бездарности антисоветских выступлений Бунина, тоже превосходна: – о нищете мысли в его реакционной публицистике. Я недавно прочитал его нью-йоркскую книгу о Чехове – с выпадами против всего, что произошло у нас после 17 года, и мне даже жалко стало бедного Ивана Алексеевича. Здесь-то и был его главный изъян: если бы он не был большим художником, он воспринимался бы всеми окружающими, как заурядный обыватель, умеющий мыслить лишь по обывательски. Я хорошо знал его с 1901 года – и помню его отношение к первой жене (*имя неразборчиво*), к «декадентам», к Бальмонту, к Вячеславу Иванову, к Сологубу, к Метерлинку, к социал-демократам, – всё это были отношения обывателя, с купчими мыслями, с крохотным кругозором. У него был бесталаный брат Юлий – педагог – и по этому брату можно было видеть, чем был бы Иван, если бы у него не было таланта. Юлий был воплощённая серость.

Сведя всю новеллистику Бунина к словам «Жизнь прекрасна, но проходит как сон» – Вы дали самую суть его поэтического мышления. «Он не ощущает жизнь и смерть раздельно» – великолепно.

Глубока и верна формула «От социальной и философской новеллы к новелле психологической». И так дальше.

Каждая страница Вашей статьи доставила мне искреннюю радость – НО (есть огромное НО) эта статья без адреса. Все достоинства статьи превращаются в её недостатки, ибо нельзя быть очень умным для себя (или что то же) для избранных. Ваша статья написана только для тех, кто читал Бунина, знает его новеллы, пытается понять их, уразуметь их философию, их внутренний смысл (общий для них всех), кто уже размышлял над ними. Таких людей очень мало. Они влюбятся в Вашу статью, а остальные? Остальным она покажется невнятной, невыпуклой, бледной. Потому что критик на Руси не имеет права быть «только» очень умным, очень вдумчивым аналитиком, эрудитом, человеком безупречного вкуса – он должен быть писателем массовым, общественным («Ты не в Чикаго, моя дорогая!»), громким. Я вовсе не зову Вас на площадь, я только хочу, чтобы Вы больше поверили в свой темперамент.

И не верьте, что читатель – такой же эрудит, как и Вы. Когда Вы говорите (на 1-ой стр.) о жестокой идее возмездия, Вы имеете в виду концепцию «Анны Карениной»

(«Мне отмщение и Аз воздам»), которой читатель не знает. Дальше Вы говорите, что Бунин-новеллист это Блок в прозе – и не приводите примеров, а без них читатель не оценит этой замечательной мысли. Вы вообще мало приводите цитат. Привести бы концовки пяти-шести бунинских новелл (гибель, гибель, гибель), процитировать бы пять-шесть стихотворений Блока – и Ваша мысль станет внятной для всех.

Словом: статья чудесная, но кое-где её нужно написать по-другому.

Простите за откровенность – уж очень мне понравилось содержание статьи.

Статью о Чуковском ещё не прочёл: нет ни секунды: сдаю в набор 3-е изд. «Мастерства Некрасова» и 2-е изд. «Людей и книг». Всего доброго (К.Чуковский))

Замечания составителя.

Сборник Бунина «Тёмные аллеи» тогда ещё не был опубликован в стране. Брат прочитал рассказы, о которых идёт речь, на полуслепых листках формата максимум А5, полученных, насколько помню, от писателя Л.В. Никулина.

По дате, указанной Чуковским на письме, видно, что ему была предоставлена не окончательная редакция статьи, которая, как указано в примечании к книге «Профили искусства», была закончена в 1959 году. Это видно и по некоторым несоответствиям цитат из статьи, приведённых в письме, тексту статьи, опубликованному в книге.

Не исключено, что автор учёл часть замечаний при составлении окончательного текста. Однако, совет Чуковского сделать статью внятной для массового читателя, был нереален: для этого нужен был бы объём не статьи (а она и так большая), а книги. О труде над книгой автор, едва сводящий концы с концами за счёт лишь нерегулярных гонораров, мог только мечтать. А какой выдержкой нужно обладать, чтобы писать для себя, «в стол» уже не статью, а книгу? Шансов же на издание такой книги не было, ведь Бунин – не Некрасов.

Заметка Бориса Алперса о книге М.Иофьева

*Борис Алперс, ученый и человек,
раздел «Из записных книжек», «Театр» №3, 1994, стр.74*

Очень ясный, без всякой намеренной сложности.

Это не «статьи о...» или, вернее не только «статьи о...», но и собственные раздумья автора о жизни, о себе, о своих путях в искусстве.

Театр, литература важны Иофьеву не сами по себе, но как отблески жизненных явлений, а часто как ключ к потаённым дверям жизни.

Иофьев умеет иногда поднимать художественное произведение на такую высоту, которая, может быть, не свойственна этому произведению. Так случилось с пошловатой новеллой Бунина «Галия Ганская». Когда я читал статью Иофьева в том месте, где он говорит об этой новелле, я решил, что я не знаю её, настолько она в изложении критика оказалась значительней. На самом же деле я читал её уже давно.

В книге Иофьева действует принцип айсберга. Чувствуется подводная часть.

Иофьева сопровождают поэты: Пушкин, Фет, Тютчев, Есенин и, особенно, Блок, возникающий в самых неожиданных местах (например, в статье о Ватто). И это не случайно. А.Блок, конечно, является (и ещё долго останется) нашим вожатым на дорогах жизни и истории. И Иофьев это прекрасно чувствует.

Он свободно оперирует различными историко-культурными пластами и категориями. Иофьев хорошо себя чувствует и в древнем Риме, и во Франции XVIII века,

вспоминая к месту и по существу имена различных художников, писателей, поэтов, режиссёров – от Вольтера до Франсуа Мориака, от Лунджи Риккони до М.Фокина, от мастеров итальянского возрождения до Тулуз-Лотрека.

Это не эрудиция в обычном смысле слова, но что-то органически освоенное, близкое самому автору, прочувствованное и продуманное.

Очень хороши статьи о Шульженко и Вертинском. Но эти заметки Иофьева как-то странно называть статьями. Он владел даром размышлять с пером в руках, раздумывать, разглядывать явление. Вообще его миниатюры прекрасно написаны, притом написаны в традициях блоковской прозы («Русские денди» и др.). Сжато, выразительно, точными словами.

В статьях Иофьева упоминание имени явлений органическое и только *познанное*. Но из их перечисления ясно, сколько ещё осталось ему познать.

Беда наша сегодняшняя – ложная образованность, а в лучшем случае, незнание очень и очень многого. Иногда это незнание скрывается за намеренно усложнённой формой изложения.

У Иофьева этого нет. Он вводит в свои работы только то, что *знает*, о чем он *думал*, и вводит это только частично, оставляя очень многое незатронутым.

Критик или рецензент? Иофьев рассказывает о себе, о своей духовной биографии, о своих пристрастиях и увлечениях. Его статьи, иногда неожиданные, не столько убеждают в общепринятой точке зрения на то или иное явление, сколько *оправдываются* внутренним строем самого автора.

Нельзя сейчас определить конкретно программу Иофьева. Но во всех его статьях чувствуется внутренний компас.

Статья Нателлы Тодрия о книге М.Иофьева

*Н.Тодрия, Лирический дар исследователя,
«Театр» №5, 1967*

Короткая жизнь Иофьева была нелёгкой. Его судьба драматична. Он принадлежал к поколению, которое формировалось во время войны, а в жизнь вступало в трудные послевоенные годы. Ещё студентом Иофьев обнаружил свободу и самостоятельность суждений, за которыми стояла не юношеская запальчивость и не скоропалительность оценок, но глубокие и разносторонние знания, тонкая культура, зрелость мысли. В написанной для студенческого семинара статье о Бабановой или в дипломной, работе о маленьких трагедиях Пушкина он предстаёт как человек со сложившимся мировоззрением. Смерть, внезапная и трагическая, настигла его в момент высокого духовного подъёма.

В 50-е годы Иофьев печатался во многих московских журналах. Но случилось так, что главные его работы не были опубликованы при жизни. А между тем именно в них раскрывается значительность и своеобразие человеческой личности и критического дара их автора. Они были собраны бережными и внимательными руками друзей и увидели свет, через несколько лет после его трагической гибели. Не боясь преувеличений, можно сказать, что эта небольшая, со скромным изяществом изданная книжка с тремя грациозными силуэтами танцовщиц на красновато-кирпичной обложке, одна из самых содержательных и глубоких работ по искусству, вышедших за последние годы.

Не стоит бояться слов – её автор был человеком блестящим, хотя меньше всего заботился о том, чтобы блистать, поражать, производить впечатление. Его манеру держать себя отличала спокойная, изящная скромность. Это сказывается в его литературных трудах. Иофьев не присваивал себе роли ментора, наставника, как это часто бывает среди теоретиков искусства. Он намеренно оставался в тени, держась несколько замкнуто. Хотя любил людей и люди к нему тянулись. Он мог быть насмешлив, ироничен, колюч, нетерпим к безответственной бравате или безвкусуному оригинальничанию. Но если чувствовал, что человек серьёзен и честен, относился к нему внимательно и чутко. Уважительное отношение к чужому мнению, даже если он и не разделял его, – черта, присущая Иофьеву в высокой степени.

Он был удивительным собеседником. Разговаривая с ним, вы ощущали на себе его внимательные и думающие глаза. Это было в нем притягательно и прекрасно: он думал, думал всегда, слушая, разговаривая, споря. Самые интонации его были негромки, словно он прислушивался к внутреннему голосу, в нем звучащему. Это сохранилось и в его статьях, создавая их особый задумчивый ритм, их своеобразную настроенность.

Иофьев испытывал жадный и весёлый интерес к жизни, к людям. Это не было любопытством стороннего наблюдателя, а пристальным вниманием человека, живущего полно и напряжённо.

Многие из лучших его статей создавались в трудное для него время, а написаны они на вольном широком дыхании, пронизаны мужественным и свободным восприятием жизни.

Круг художественных интересов и пристрастий Иофьева многообразен. В сборнике рядом с этюдом, посвящённым театральным полотнам Ватто, размышления о пьесах Володина, и о фильме Эрмлера. Исследования о пушкинских трагедиях и позднем Бунине – с маленькой новеллой о песенке Шульженко. Мастерски сделанные портреты Вергинского и Таирова – со статьями о классическом балете Гранд-Опера и творчестве Бабановой.

Это не всядность критика. Не принадлежал Иофьев и к числу журналистов, по долгу профессии обязанных иногда писать о вещах им безразличных. Он писал только о том, что так или иначе затрагивало какие-то его глубинные личные мотивы.

Отсюда и рождался стиль его статей, одновременно эмоциональный и трезвый. Они написаны исследователем, наделённым лирическим даром поэта. Язык их точный и одухотворённый, композиция – стройная и строгая. Они звучат музыкально. Достаточно вспомнить «Три вальса» Клавдии Шульженко – маленький шедевр критика.

Особая целомудренная сдержанность не позволяла ему выражать себя в критических работах открыто, от первого лица. Но своя сокровенная тема проходит через всю книгу, наполняя её внутренней энергией и темпераментом.

Это тема героизма без котурн, героизма и бескомпромиссности скромного обыкновенного человека, который, как он писал, «по природе может быть и слаб, но стремится стать выше себя». Тема о том, как «крепнет и светлеет человеческая душа на трудных путях достижения идеала».

Она проходит через все творчество критика, начиная со статьи о Бабановой, написанной в 1947 году, и кончая его последними работами.

Иофьев умел уловить эти мотивы не только там, где выражены они открыто и полно, но возникают мимолётно, в мгновенном жесте, в неожиданно прорвавшейся интонации, звучат приглушённо, неслышно для нечуткого уха. Свидетельство этому

его пронизательные и романтические этюды о балеринах Чороховой и Нинель Петровой.

Больше всего Иофьев ценил в искусстве те минуты, когда непроизвольно и смело выражает себя личность художника, его неосознанные порывы, и человек распрямляется во весь свой рост. Тогда наступает полнота существования. Даже если эти моменты редки и мимолётны, «ими, – по его словам, – живёт свободный человек», в них он обретает внутреннюю гармонию.

Иофьев твёрдо знал, что «в тревогах и борьбе творится гармония и радость». Они невозможны, если человек замыкается в себе, уходит в мир индивидуалистических страстей, утрачивает веру в общественные ценности и идеалы. «Силы свои и способности, – писал он в статье о пушкинских трагедиях, – человек может утвердить только в общенародном деле». Равнодушие к долгу и справедливости приводит к оскудению личности и опустошённости души.

Эта истина для Иофьева непреложна.

Мечта о человеке гармоничном и целомом, сохраняющем, как бы трагически ни складывались обстоятельства, веру в конечное торжество справедливости и высокого нравственного начала, составляет пафос книги Иофьева.

О критике В.М. Гаевского, друге М.Иофьева

*Приведены фрагменты из поздравления В.Семеновского
в связи с 75-летием В.Гаевского, ж-л «Театр» №5, 2003*

Исполнилось 75 лет Вадиму Гаевскому. Его книги – «Дивертимент», «Флейта Гамлета», «Дом Петипа» – образцовая критическая проза. В этом Гаевскому не отказывают даже те, кто числит его именно что театральным прозаиком, чуть ли не сочинителем, слишком вольным, слишком увлечённым собственной, как правило, красивой и стройной версией художественного события.

Иной раз, наверное, как любой из пишущих и мыслящих авторов, Гаевский становится пленником любимой мысли. Но по характеру своего мышления он, конечно, никакой не беллетрист и тем более не фантазёр, но именно исследователь. Этот особый тип исследовательской мысли укоренён в прекрасных традициях отечественной художественной критики, при том что сегодня мы являемся свидетелями увядания этих традиций. (Назовём для ясности некоторые имена, которым Гаевский наследует. Иннокентий Анненский, Павел Муратов, Аким Волинский, Абрам Эфрос... Из западных авторов – конечно же, Поль Валери.) Гаевский начинал в журнале «Театр» отчётливой поры... Слово извлекалось из-под спуда, из глубин речевого сознания, – в противовес казённой лексике, но также и необязательности, бесформенности полуразговорного, полуучёного (псевдо-академического) воляпюка, этой дикой смеси «ведения» и невежества.

Не в пример авторам, начинавшим свой разговор с нуля, обретавшим вкус к обычной человеческой речи, но ещё не обретшим исторического и художественного слуха, Гаевский (наряду с Матвеем Иофьевым, Борисом Зингерманом, Алексеем Гастевым) и в самых ранних своих статьях обнаруживал волю к культуре, к продолжению прерванного, но нескончаемого разговора. Среди шестидесятников (Крымова, Лакшин, Соловьёва, Свободин и другие) он был автором ценным (красиво пишет, пожалуй, слишком), но явно немагистральным. А ведь писал и о Высоцком - Гамлете (и статья

эта, запрещённая цензурой, ходила в списках по Москве), и о БДТ, и о Володине, и об Эфросе... То есть на темы животрепещущие, ключевые для того времени. Правда, писал об этом не так, как было тогда принято. Умудрялся не пользоваться кодовым словом «гражданственность» и даже к слову «духовность», этому опознавательному знаку уклончиво-расхожего добромыслия, относился с опаской.

Человек слова, понимаемого как поступок, ... Гаевский сегодня, как и всегда, делает своё дело: думает и пишет. И по-прежнему верит, что «поиски абсолюта («белый цвет балета – цвет абсолюта») совсем не абстрактная философская игра».

Тексты В.Гаевского

Статья «Комната в коридоре»

«Театральная жизнь» №6, март 1988

Памяти М.Иофьева, товарища моих студенческих лет

Когда он погиб, – в нелепой авиационной катастрофе, в двух шагах от аэродрома, в подмосковном осеннем лесу, – знавший его ленинградский профессор Н.Берковский прислал письмо, в котором написал, что наш товарищ был похож на Александра Блока. Мы были поражены. Такое нам в голову не приходило. Мы были уверены в том, что серебряный век кончился навсегда и что мы живём в другой эре. Тогда время Чернышевского казалось ближе, чем время Блока.

К тому же наш быт, в который мы были так или иначе погружены, исключал возможность красивых петербургских сопоставлений. Товарищ мой жил в большой коммунальной квартире, совсем не похожей на блоковскую квартиру в доме на набережной реки Пряжки. Представьте себе длинный заставленный коридор и комнату метров не более двадцати, надвое перегородленную встроенной искусственной стенкой. В углу, у окна, маленький письменный столик с фотографическим портретом Поля Валери и стопкой книг в довоенных неярких переплётках. В центре – круглый обеденный стол, на котором тарелка с батоном, банка рыбных консервов и консервный нож, а между столиком и столом – старый диванчик, неширокий, но очень удобный. В этой полукомнате проходит день. Это и кабинет, и гостиная, и столовая. За столиком он сидит поутру, здесь протекает его профессиональная жизнь, жизнь критика, писателя, театроведа. На диванчике он принимает доверенных друзей, а за столом устраиваются пиры, весёлые полночные пиры, на которые приглашаются девушки, беззаботные и вечно голодные начинающие актрисы. Но об этих пирах потом, потом, а теперь вернёмся к столику с фотографией Поля Валери в самодельной рамке темно-коричневого цвета.

В ту пору, а было это в конце сороковых годов, театроведческий факультет ГИТИСа напоминал факультет литературный. Нас учили писать. Руководители семинаров Б.Алперс, П.Марков, А.Эфрос – были писателями высокого класса. Да и другие преподаватели и А.Дживелегов, и С.Мокульский, и Н.Тарабукин, и К.Локс, и Г.Бояджиев, и А.Аникст — были авторами книг, широко известных или, наоборот, не напечатанных, ждущих своего часа. Нередко прямо на лекциях нам зачитывали только что отпечатанный на машинке текст, и стопка белоснежных страниц волновала больше, чем какая-либо редкая книга или старинный журнал: интимная тайна творчества приоткрывалась нам впервые. Машинописная рукопись производила особый по-

лиграфический эффект ещё и потому, что свои работы мы писали от руки, о собственных пишущих машинках студенты и не мечтали.

На этих уроках литературы мой товарищ был признанным первым учеником, литературный дар был дан ему от природы. Не могу сказать – мощный дар, скорее – утончённый и неоспоримо изящный. Изыскно строилась фраза, гибким изяществом отличалась сама мысль – очень трезвая, лишённая каких бы то ни было сентиментальных, а тем более вульгарных иллюзий. Вульгарность была ему противна, совершенно чужда, а ведь в ней искали тогда свободу. Инакомыслие заменял сленг, профессиональный жаргон жуликов и музыкантов. Надо было видеть, как мой товарищ кривился, слыша жаргонные обрубки-слова, все эти «башли», «лабухи» и «кси-вы». Хорошо зная простонародный подцензурный язык, он в устной речи был пурист, не терпел псевдофольклора (и, между прочим, какой-то особенной, оскорблённой ненавистью ненавидел только что вошедшее в моду выражение «секапильность»). А за письменным столом был пуристом вдвойне. И «тайную свободу», говоря блоковским языком, находил в изяществе фраз и строгой точности мысли.

Понятно, что ему был присущ лаконизм, а жанром, который он предпочитал всем прочим, стал жанр маленькой рецензии, короткой статьи, непродолжительного доклада. Я думаю, не только литературные пристрастия определяли этот канон, но и соображения более общие, ощущение пределов, которые ставила жизнь, ощущение возможностей, которыми можно – и нужно – овладевать внутри этих пределов. Философия жанра у него, конечно, была, но ни в коем случае не чисто формальная. И, конечно же, не школьные побуждения водили его пером, когда он писал свой диплом, совсем не случайно посвящённый маленьким трагедиям Пушкина. Пушкина он знал как профессиональный пушкинист. И не сказал о Пушкине ни одного неуместного слова.

Разумеется, когда обстоятельства требовали того, он сочинял и пространные исследования, длинные статьи, он владел большой формой, умел строить композицию и своеобразный концепционный сюжет, но малую форму использовал особенно хорошо, маленькие статьи писал виртуозно. Его можно назвать критиком-новеллистом. Новеллу он ценил больше всего – новеллу Бунина, Мериме, Хемингуэя. О поздней новелле Бунина он написал как только стало возможно, в 1957 году, и это, на мой взгляд, лучшее, что написано о Бунине в нашей литературе. Его увлечение Вертинским, которому он посвятил трехстраничную, захватывающе точную статью, тоже, по-видимому, объясняется тем, что песенки Вертинского – новеллика на эстраде. Любимой же его новеллой была «Кармен» Мериме. Любимыми стихами – блоковские стихи, посвящённые петербургской Кармен, Любви Дельмас, веселой рыжеволосой певице.

Любил он и другие блоковские стихи – о страсти, сгоревшей дотла, о роковой пустоте сердца.

Я вспоминаю его лицо, молоджавое, но и не очень молодое: изборозждённый морщинками высокий лоб, пугающе пронизательный взгляд, чувственный рот, тонкий подбородок.

Это был страстный человек, которого и влекли, и отталкивали сильные страсти.

Он не был картёжником и не ходил на бега, но хорошо знал, что испытывают игроки за зелёным столом и на ипподроме. Ещё более осторожным он старался быть в сердечных делах, хотя к чести его скажу, что это ему далеко не всегда удавалось. Сколько раз он попадал в ситуацию, когда сделать решительный шаг было нельзя, но

и не сделать тоже нельзя, и эту ситуацию мы обсуждали у него на диване. К запутанным жизненным положениям у него вообще был вкус. Иногда казалось, что он создаёт их намеренно и упрямо.

Впрочем, на диване мы говорили не только о нём. Ему первому стало бы скучно. Он дружил со многими, совершенно различными людьми, много думал о них, старался понять – загадка людей волновала его постоянно. Он мог подолгу предсказывать чью-то судьбу, часами исследовать чей-то характер. Его приятели и не подозревали, насколько занимают его, какие на их счёт у него домыслы, допущения и догадки.

О чем ещё говорилось на диване? Да обо всем. Конечно же о театре прежде всего, ведь мы учились в театральном институте. Но и о стихах, о тех главным образом, которые в нашем кругу знал он один: стихах Анненского, Случевского, Кузмина, Гумилёва, ранней Цветаевой, раннего Мандельштама. Затем вновь о любимых актрисах – Бабановой, Коонен, Зинаиде Шарко, Констанции Рокк. И наконец, о более насущных делах, например, о способе поведения в роковых обстоятельствах жизни. Товарищ мой готовился к ним как мог, он не хотел, чтобы его застала врасплох непоправимая неприятность. В отличие от нас, в житейских вопросах он был не по-юношески умудрён, не по-студенчески не легкомыслен.

Прожить с толком каждый день – это он умел, это он воспитывал в себе и в своих близких. Но никогда не переставал думать о завтрашнем дне, о ближайших и отдалённых перспективах. Недобрые замыслы судьбы он принимал почти как неизбежность.

Как часто, однако, разговор превращался в домашний урок, состоявший из обстоятельных литературных импровизаций, – товарищ мой был прирождённым педагогом. Некоторые сокурсники приходили к нему и плакались, что все складывается не так: начальство не жалуется, рецензия не идёт, предисловие не пишется, диссертация не получается, а на кафедре – черт знает что, – он все это выслушивал (с кривой улыбкой, надо признать), находил в себе силы терпеливо выслушивать, давал советы и утешал, да что там утешал – помогал с диссертацией, которая сразу же начинала получаться, диктовал рецензию (он умел диктовать готовый для печати текст), обговаривал предисловие, а поздно вечером (это было уже после того, как он кончил институт) торопился на последнюю электричку, отвозившую его за сто километров от Москвы, в небольшой городок, где в техникуме культпросвета он рассказывал о письмах мадам де Севинье и «Стихах о Прекрасной даме». Так сложилась его судьба, и он не жаловался, не роптал. Он лишь не забывал прихватить в дорогу нож, потому что в ту пору ездить в ночных электричках было небезопасно.

Зато, когда он возвращался, он созывал друзей к обеденному столу, эта традиция возникла ещё в студенческие годы. Какие же это были радостные пиры! За одну ночь можно было услышать больше остроумия, чем за год во всех московских эстрадных программах. Стол не ломился от яств, но не был пуст, хозяин при всех обстоятельствах умел быть щедрым. Гости тоже были по-царски щедры. И наши подруги, бледноватые девушки первых послевоенных лет, покрывались к утру нежным румянцем.

Так проходил день — за письменным столиком, на диване и за столом, если этот день был свободен от лекций. Если же на лекции надо было идти, мой товарищ их не пропускал. Он лишь начинал день раньше обычного, чтобы успеть написать два-три

абзаца. Так кем же был мой студенческий друг? Интеллектуалом? Но это слово не для него, не имевшего склонности к теоретизированию, к абстрактным проблемам. Абстрактных теоретиков искусства он не любил, считал способными на трусость и низость. К тому же он не презирал быт и прекрасно ориентировался в море житейском. Тогда, может быть, скажем просто-напросто: интеллигент? Но и это не вполне подходящее для него слово. Кто только из нас не был интеллигентом? Но мы (я имею в виду его товарищей и друзей) были тогда дикарями, а он был цивилизованным человеком. И не только потому, что многое знал и мог на память цитировать страницы из «Анны Карениной» и «Капитанской дочки». Он был цивилизованным человеком по крови своей и по своим осознанным установкам. Он не торопился никого осудить, был широк и терпим, и в широте и терпимости видел смысл творчества, смысл культуры. А потому назначение критика понимал глубоко, но не слишком буквально. Критик — интерпретатор, а не судья, аналитик-исследователь и уж, конечно, не проработчик. Войнственности, которая отличала всех нас, в нем не было ни грана. Со всем не было поверхностного журнализма. Традиция, которую он стремился продолжить и утвердить, восходила к тем временам, когда слово «критика» существовало не само по себе, а рядом со словом «художественная». Художественная критика — вот его призвание, вот его ремесло, отсюда и техника, и стилистика, и пластика, и литературность. В жизни он тоже был художник — в поступках, словах, намерениях, мыслях. Поэтому так запомнился его дом. Присутствие художника преображало скучный быт, наполняло смутным очарованием небольшую комнату по левую сторону длинного заставленного коридора.

Дорога туда открылась после того, как в ГИТИСе на перемене ко мне подошёл худощавый молодой человек в сером костюме, в галстук, с папиросой в руке и несколько церемонно сказал: «Вы знаете, я сам формалист, но все-таки нужно же быть более осведомлённым. Вы пишете о «Мадемуазель Нитуш», но о жанре оперетты в Вашей работе ни слова. Не обижайтесь на меня. Давайте знакомиться. Меня зовут Мотя Иофьев».

Произошло это в 1947 году, ему оставалось жить двенадцать лет, а было в ту пору двадцать два года. Учился он на втором курсе.

Но формалистом он не был ни тогда, ни потом. Он лишь не терпел небрежности в статьях и бесформенности в спектаклях.

Из книги «Дом Петипа»

*изд. «Артист. Режиссер. Театр»,
2000, стр. 324 – 326*

Якобсона можно считать последним представителем фокинского «драмбалета», танцевального и живописного. «Спартак», к примеру, прямое продолжение фокинских «Египетских ночей», но лишь развёрнутое в большую трёхактную фреску. Об этом сразу же написал рецензент журнала «Театр» в нашумевшей статье 1957 года: «Его хореография самостоятельна по отношению к формам и лексике классического танца. Он ищет выразительности иной и свежей, он покидает пределы балетной классики, хотя они совсем не стеснительные, не узкие. Это не значит, что Якобсон не имеет предшественников в русском балете — творчество М.Фокина вспоминается отчетливо, Якобсон, конечно, им вдохновлялся».

Приведённая цитата принадлежит Матвею (Моисею) Иофьеву, товарищу моих студенческих лет, памяти которого посвящена эта книга. Коротко расскажу и о нём. Мотя (так звали его все) прожил неполных тридцать пять лет, успел поработать мебельщиком в Камерном театре, преподавателем в Егорьевском институте культуры, инструктором водного туризма, редактором отдела критики в журнале «Новый мир»* и написал несколько выдающихся работ – о литературе, живописи, кино и, конечно же, о театре. Перечислю лишь самые значительные, чтобы представить диапазон его возможностей и круг его интересов: «Маленькие трагедии Пушкина», «Поздняя новелла Бунина», «Искусство Бабановой», «Памяти Таирова», «Восемнадцать лет и пять вечеров» (А.Володин), «Ватто и театр его времени», «Вертинский», «О современной режиссуре», «Балет Гранд Опера в Москве» – все они собраны и напечатаны в книге «Профили искусства», открывающейся превосходной статьёй одного из составителей и тоже товарища Моти – Бориса Зингермана. Куда-то исчезли не менее важные статьи: «Маскарад» Лермонтова, «Федра» Расина, «Поэзия раннего Мандельштама». За пределами книги остались и многие напечатанные и ненапечатанные рецензии-миниатюры.

Критический дар был дан Иофьеву от природы. В нем совместились критик-исследователь, критик-аналитик, критик-художник и, наконец, но в очень осторожной степени, критик-поэт и критик-философ. Можно сказать, что он был критиком чистой воды и строгого стиля. Но приходилось ему нелегко.

Недолгая профессиональная жизнь Моти Иофьева таила в себе молчаливую драму. Блестяще образованный, не чета всем нам, выпускникам ГИТИСа тех лет, наделённый глубоким, острым и совершенно независимым умом, ничем не замутнённым, он тем не менее не нашёл признания среди коллег, не имел последователей и учеников и в профессиональной среде чувствовал себя одиноким. Его не принял, а вслед за тем и отверг, и даже ослабил нарождавшийся театрально-критический бомонд (будущие «шестидесятники») хотя бы потому, что он был не человеком салонов, а человеком застолий, с иным, нежели у интеллектуалов конца 50-х годов, набором тем, а также иным списком приглашённых. Но, конечно, подлинная причина неочевидного остракизма лежала в другом — несходстве исходных позиций. Воспитанный на классических образцах, Мотя применял критерии строгой формы, художественного богатства и виртуозного мастерства по отношению ко всему и ко всем, без исключения, и поэтому нередко оказывался в оппозиции к молодой режиссуре и общественному мнению, стоявшему за ней. Он позволял себе трезво анализировать первые опыты Бориса Львова-Анохина и Анатолия Эфроса, также как, между прочим, и ранние – безусловно, лучшие — стихи Евгения Евтушенко. Ссылки на оппозиционность, прогрессивность, интеллигентность и современность его не убеждали**. Тем более не увлекла его всеобщая мода на неореализм (притом что итальянские фильмы он, что естественно, высоко ценил) и уж совершенно не устраивало порождённое неореалистической модой отрицание театральности в театре. Противопоставление сценической правды виртуозному мастерству казалось ему опасным заблуждением и просто-напросто чушью. Он писал о Бабановой, Коонен, вахтанговских мастерах, и эти совсем не декларативные, но очень глубокие (и в свою очередь виртуозно написанные) статьи встречались в штывы и даже однажды вызвали публичный скандал как измена общему делу. Сейчас в это трудно поверить, но это было именно так. И как раз в это нелёгкое для себя время М.Иофьев увлёкся балетом.

Как и всегда, он очень быстро освоился в незнакомом художественном материале и в красивых чётких словах сформулировал некоторые основополагающие принципы балетного жанра. И как и всегда, он ориентировался на классические образцы. В том числе и на классические образцы балетоведческой аналитики, балетно-критической прозы. Высшим авторитетом для него был Андрей Левинсон, статьи которого в «Аполлоне» стали его школой. Что же увлекло его в творчестве столь не классического Леонида Якобсона? Яркая театральность прежде всего. Пластичность хореографического языка, поскольку Мотя Иофьев более всего ценил пластичность – как универсальный художественный язык – и сам писал на удивление пластично. И наконец, здесь была судьба, а в судьбу скептический Иофьев непоколебимо верил.

Прочитав статью о «Спартаке», Якобсон предложил Иофьеву написать в соавторстве книгу, на что тот, не раздумывая, согласился. Соавторство предполагало, что один пишет, а другой говорит, но Иофьева, не раз и не два писавшего за кого-то еще, это обстоятельство мало смущало. Зато воодушевляла возможность часто посещать Ленинград, а город этот неудержимо притягивал его как никакой другой город на свете. Заветными местами были каналы, Нева (где, кстати сказать, мы оба едва не погибли прямо под Дворцовым мостом – тогда по Неве можно было кататься на лодках). А самым заветным местом был Павловск и Павловский железнодорожный вокзал, где скоропостижно умер любимый поэт Иннокентий Анненский. Полвека спустя (без одного месяца) Мотя Иофьев погиб ..., торопясь вернуться к письменному столу, чтобы закончить к намеченному сроку очередную главу книги Леонида Якобсона.***

После гибели М.Иофьева Якобсон решил написать свою книгу самостоятельно, своей рукой, изменив план и придав ей более полемический характер. Наступали другие времена, якобсоновский «Спартак» на сцене Мариинского театра уже не шёл, на сцене Большого театра балет Арама Хачатуряна поставил в 1958 году Игорь Моисеев, а десять лет спустя – Юрий Григорович. И всю свою желчность, всю свою яростную нетерпимость Якобсон излил на многих страницах, посвящённых московскому «Спартаку», доказывая свою правоту и демонстрируя грубые просчёты своего исторического оппонента. Конечно же, эти два «Спартака» – московский и ленинградский – были совсем непохожи друг на друга. ... В одном случае – роскошнейший «драмбалет», в другом – балетный спектакль, основанный на так называемом симфоническом танце. Две эстетики, две эпохи, два художественных типа. С большой сцены уходит мягкий пластичный стиль, на смену приходит жёсткий стиль, властный, атлетический и конструктивный.

Примечания составителя:

*В журнале «Новый мир» он был, конечно, лишь внештатным редактором. **В одном случае мне удалось убедить брата смягчить критику одного из симпатичных авторов того времени (насколько помню, Ю.Нагибина), мол, на него и без того нападают кому не лень. ***Текст, написанный с Л.Якобсоном, помещён в четвёртой части книги.

Из книги «Разговоры о русском балете»

*Совместно с П.Гершензоном
М.: «Новое издательство», 2010, 292 с.*

Безвременно рано погибший Матвей Иофьев нашёл точное слово, хотя и самое неопределённое: он говорил о романтизме как о сущности балетного искусства. Это театр одушевлённых стихий. Каких? Трудно сказать.

Из «Книги расставаний.

Заметки о критиках и спектаклях»

изд. «Российский гос. гуманитарный университет»,
М. 2007, фрагменты стр.151-170

Из главы «Профессора и студенты»

Я учился в ГИТИСе в самый переломный момент: до конца 1948 года (я был тогда на третьем курсе) это был один институт, а потом – другой, хоть и помещавшийся в том же здании, в том же Собиновском (ныне Кисловском) переулке. В первом институте нас учили писать – семинары по критике вели выдающиеся писатели: Б.Алперс, П.Марков, Абрам Эфрос, Г.Бояджиев, и только они, поэтому на учебных семинарах сталкивалось столько страстей, а уровень наших студенческих работ был столь высоким. Помимо того нас учили читать: по-моему, мы были самыми начитанными студентами в Москве (а самым начитанным был мой институтский товарищ Матвей – Мотя – Иофьев, о котором речь пойдёт дальше), и в ГИТИСе была совершенно замечательная – пока её не разворовали – библиотека. И наконец, нас учили самостоятельно думать.

Во втором институте семинары по критике вели чиновники министерства культуры, не умевшие ничего писать, кроме циркуляров, ведомственных докладов и доносов... . Стало смертельно скучно. Потом что-то и как-то вернулось, ГИТИС устоял, но об этой жизни – жизни после смерти – пусть расскажет кто-то ещё, мои же воспоминания посвящены другому времени и другим людям. ...

Допущенных к вступительным экзаменам поодиночке принимал ректор (тогда ещё директор) Стефан Стефанович Мокульский, сам театровед, создатель того гуманитарного чуда, каким был до 1949 года театроведческий факультет. Увидев в моём школьном аттестате четвёрку по истории, он с недовольным видом заметил, что театроведение – это историческая дисциплина, а каждый театровед должен быть историком по призванию, по знаниям, по особому историческому чувству. «Запомните это, молодой человек», – сказал он мне на прощанье. Я запомнил, хорошо запомнил.

1 сентября начались занятия, и начались они с курса «Введение в театроведение». И саму вступительную лекцию, и весь курс читал Мокульский. Мы были поражены – и тем, что говорил лектор, и тем, о чём он не говорил, и тем, как он говорил. ... Мы не услышали ничего из того, что ожидали услышать, никаких речей о системе Станиславского, социалистическом реализме, партийных решениях в области литературы и искусства, – и это на вступительной лекции официального начальственного лица, к тому же члена партии с какого-то далёкого года (да ещё и члена бюро райкома). Но такова была педагогическая установка Мокульского, патрона театроведческого факультета, – здесь говорилось лишь об искусстве. То есть обязательные лекции ... читались, надо сказать, на вполне приличном уровне, а преподаватель политэкономии капитализма своей вдохновенной декламацией (товар – деньги – товар) всерьёз увлекал; но в 1948 году он был арестован по стандартному обвинению в неотроцкизме. На самом деле он слишком часто произносил имя Карл Маркс и забывал произносить имена Ленин и Сталин. Как я понял впоследствии, марксизм был тогда формой вольнодумства, свободомыслия – в пике невежественным сталинистам. Эту стратегию практиковали наш любимый преподаватель Александр Абрамович Аникст и наш самый продвинутый студент Борис Зингерман. Той же стратегии придерживался и сам

Мокульский. Но лишь за пределами факультета. Факультет же при нём был – странно сказать – единственным беспартийным факультетом среди всех московских вузов.

Из чего вовсе не следует, что на факультете царил мир – благостным он никогда не был. Здесь спорили, спорили до хрипоты, представители разных направлений театроведческой науки, что само по себе окрашивало яркими цветами нашу жизнь. После 1948 года существование разных направлений в отечественной науке стало совсем невозможным. А ГИТИС сохранял своё многоголосие до конца. ...

Историю изобразительных искусств нам преподавал легендарный Николай Михайлович Тарабукин, в прошлом – заведующий художественной частью в Театре Мейерхольда. А один из семинаров по критике вёл не менее знаменитый Абрам Маркович Эфрос, в прошлом – заведующий художественной частью у Таирова, в Камерном театре. Мы все прекрасно знали, как враждовали между собой Мейерхольд и Таилов, поэтому с любопытством наблюдали встречи обоих профессоров в коридорах.

Ничего чрезвычайного не происходило: они пожимали друг другу руки и улыбались – саркастически, но миролюбиво.

В такой интеллектуальной атмосфере мы прожили несколько лет, и теперь станет понятно, если я скажу, что события 1949 года, кампания против критиков-космополитов, разгром факультета, изгнание Мокульского и всех лучших профессоров – всё это как громом поразило студентов. Не то чтобы не знали, что происходит вокруг. Прекрасно знали. Но как-то надеялись, что гроза пройдёт стороной, да к тому же и это ощущение, что «мы жили тогда на планете другой» – как пел Вертинский в окраинных домах культуры. Слишком сильной была странная вера, что талант наших профессоров защитит их от беды, и нас вместе с ними. А ведь в этой кампании важная роль отводилась именно нам, студентам. Избиения преподавателей происходили публично, на наших глазах, с обязательным присутствием студентов всех пяти курсов. И так же на наших глазах от своих учителей отрекались бывшие любимые ученики, аспиранты, кандидаты, доценты. Я помню, как мужественно защищавшийся Борис Владимирович Алперс потерял присутствие духа, когда, во время обсуждения-поношения его знаменитой книги «Актёрское искусство в России», слово взял Борис Асеев, всем обязанный ему ученик, и, отбросив приличия, смирение и стыд, улыбаясь мерзкой улыбкой завистливого негодая, которым он был всегда (не замечал это лишь благородный Борис Владимирович), громко пожаловался на то, как он долго был вынужден молчать, но наконец – наконец-то! – может сказать всю правду. И сказал. А через неделю был назначен заведующим кафедрой русского театра, которой руководил Алперс. На короткое время наш институт стал школой предательства, безнаказанного и вознаграждённого.

Все уходили – в никуда. Кто-то потом вернулся, кто-то не захотел, а кто-то не смог. Курс всеобщей литературы читал Константин Георгиевич Локс, гимназический товарищ Пастернака (ему посвящён пастернаковский перевод «Фауста»), легендарный лектор, выдающийся литературовед, маленький хрупкий человек-былинка. Приходя в ГИТИС, он первым делом направлялся к доске объявлений и смотрел, не уволили ли его, после чего шёл читать лекции. Так было и в 1947-м, и в 1948 году, всё это мы наблюдали, считая чудачеством, простительной странностью любимого педагога. В начале 1949 года он так же подошёл к доске объявлений, увидел там приказ о своём увольнении и, не заходя к нам, повернулся и пошёл домой. Через некоторое время его не стало.

С тех пор много воды утекло, и теперь уже я – начиная с осени 1992 года – сам преподавал на театроведческом отделении, правда не ГИТИСа, а РГГУ, сам вёл критический семинар, получивший название «мастер-класса». Сразу же было заведено: на первых двух занятиях я показываю фильм Марселя Карне «Дети райка», лучший кинофильм о театральном искусстве, и читаю статью Матвея Иофьева «Памяти Тан-рова», лучший некролог о режиссёре и о самом Камерном театре. Написана статья в 1950 году по горячим следам, Мотя и не рассчитывал её напечатать. Тогда мы и в мыслях не имели, что наши тексты когда-либо издадут, – писали их друг для друга. Как письма.

Из главы «Матвей Иофьев»

Когда он погиб, ... профессор Н.Я. Берковский ... написал, что Мотя Иофьев был похож на Александра Блока. ... Да, конечно, прямая походка, высокий лоб, обветренное лицо, к тому же знание наизусть почти всех блоковских стихов (или хотя бы всех блоковских стихов 2-го и 3-го тома), к тому же величайшая трезвость по отношению к людям, к жизни и уж, конечно, к властям, но при этом – образ мысли несколько не циничный или скептический, но романтический и что называется высокий; всё это так, но что общего: Блок, профессорский внук, лето проводящий в подмосковном имении Шахматова (поразительный по красоте ландшафт, вот откуда у Блока мистика русской природы), и Иофьев, живущий с родителями и младшим братом в коммунальной квартире на Тверской, в одной комнате, перегородженной на две неравные половины.

Там... пишутся по утрам статьи; рядом, на узком диванчике, проводятся долгие разговоры с приятелями или испуганными студентами из самых разных институтов, пришедшими обсудить дипломный проект; а ... за небольшим ... обеденным столом устраиваются вечерние, нередко и ночные «пиры», как их любил называть хлебосольный хозяин: «белая головка», консервы, чёрный хлеб с маслом, солёные огурчики, зелёный лучок и то, что принесут гости. Гостей Мотя умел принимать, он был общителен, хотя иногда и коварен.

Страстью его было выстраивать человеческие отношения. В этом деле он был виртуоз, а точнее сказать – драматург, в своих приёмах чрезвычайно искусный. Неспроста он любил комедии Мариво, а «Опасные связи» и «Герой нашего времени» были его любимыми романами. И с этим умением – строить отношения, создавать длящийся и неповторимый сюжет, разный с разными людьми, с женщинами самый запутанный, с мужчинами самый сложный, – с этим небезопасным умением связаны почти все его театральные пристрастия и критические критерии, критические оценки. Как мало кто, он умел следить за тем, насколько последовательно выстраивают отношения между персонажами режиссёр или актёр, насколько логично. И в точных словах, строгих или, наоборот, восхищённых, об этом говорить и писать.

Его безграничное восхищение Марией Ивановной Бабановой питалось не только её беспримерным мастерством – мастерством движения, мастерством сценической речи, но и тем, что она со страстью отдавалась этой увлекательной, этой коварной, этой волшебной игре – приближать партнёра и отдалять его, очаровывать и ставить в тупик, обдавать холодом и воспламенять, не оставлять надежды и награждать, – что и составляло смысл роли Дианы в «Собаке на сене», забываемой бабановской роли. Но то была блистательная комедийная роль, текст Лопе де Веги, перевод Михаила

Лозинского – каждая реплика имеет свой вкус и вес, каждую реплику можно обыграть, создавая холодный интонационный фейерверк (а иногда – и холодный интонационный душ – бедный партнёр, бедный простодушный любовник). А Чехов – другой, и в роли Раневской уже немолодая Бабанова (ей было за пятьдесят пять лет), сохраняя всю свою голосовую гениальность, была тоже немного другой и по-другому, демонстрируя мудрую деликатность и пронзительное чувство вины (сад, сын Серёжа), выстраивала сложные и такие разные отношения – с братом, дочерью, Лопахиным и Петей. Иофьев написал о Раневской-Бабановой одну из лучших, самых глубоких своих статей, опубликовал её в журнале «Театр», и что же тут началось! В редакцию явился некогда всем нам знакомый, а ныне забытый театральный и кинокритик Эжен Сурков, умевший совмещать официальные посты (зав. отделом «Литературной газеты», главный редактор журнала «Искусство кино») с репутацией прогрессивно мыслящего либерала, и устроил безобразный скандал (сам был свидетелем, пытался ему возражать – куда там!). Что же не понравилось этому либералу? То и не понравилось, что хвалили Бабанову. Кого вы возводите на пьедестал? – кричал Сурков в ярости. – Актрису из прошлого, не умеющую естественным образом произнести ни единого слова!

Остановимся на короткое время и переведём дух. То, что случилось, – существенный эпизод и в жизни Моти Иофьева и в истории отечественного художественного либерализма. Это сейчас для всех нас имя Бабановой – святое имя, а тогда, в конце 50-х годов, её присутствие, странно сказать, мешало. Условная театральность, музыкальная манера говорить и виртуозная техника, – всё это казалось анахронизмом ..., а некто Иофьев воспекает Бабанову и пишет статью под названием, слишком напоминающим официальный язык: «Мечта о человеке». Я не преувеличиваю, всё было именно так. Глубокие суждения Иофьева о Чехове, о символике «Вишневого сада», о характере Раневской – никому не интересны, никем не услышаны, никем не оценены (вплоть до сегодняшнего дня, когда самых продвинутых актрис если что и интересует, то это отношения Раневской и лакея Яши). Тонкие параллели с блоковским «Соловьиным садом» тоже не актуальны. Между тем – насколько же прав был профессор Берковский: Блок вспоминается, образ Блока незримо присутствует во всём, что Иофьев писал, блоковский духовный максимализм, блоковское чувство прекрасного, блоковское драматичное ощущение города и даже блоковское лирическое ощущение природы.

Но в 1957 году, когда была опубликована мотина статья, в моду входили Евтушенко с Вознесенским – с их собственными представлениями о современном языке, городской архитектуре и загородном пейзаже.

Немаловажно и то, что Бабанова оставалась легендой, это был миф, к тому же миф 20-х годов, а в 50-е годы начался процесс демифологизации нашего прошлого, из чего впоследствии и возник доморощенный постмодернизм, и что поначалу казалось естественным стремлением быть собой, освободиться от всевластия авторитета. Этим стремлением Иофьев охвачен не был, никакой тирании имён не ощущал, пересмотром театральной истории не занимался. Поразительная вещь: самый свободный, самый независимый ум среди нас совсем не домогался свободы, а был полон пиетета (совершенно утраченное чувство тогда) – пиетета к прошлому, пиетета к учителям, даже пиетета к своим оппонентам. В спорах, возникавших то и дело, он был особенно хорош – доказателен как на диспутах, церемонен как на дуэлях.

И тем не менее его все отторгали.

После скандала с бабановской статьей в либеральном журнале «Театр» ему заказывали статьи лишь Борис Зингерман, заведовавший международным отделом. И то – на балетные темы (в результате чего Иофьев написал несколько блестящих статей, лучшая из которых о гастрольях парижского балета).

В «Новом мире», самом либеральном журнале тех лет, где он работал короткое время в отделе критики, его не печатали почти совсем и отказались опубликовать выдающуюся работу о поздних новеллах Бунина, несмотря на восторженную внутреннюю рецензию Корнея Чуковского и на желание реабилитировать писателя-эмигранта. Ждали либеральных банальностей, получили текст о трагических развязках и внезапной любви, к тому же написанный в манере, отдалённо напоминающей манеру Иннокентия Анненского, – всё это раздражало на фоне публикаций Володи Лакшина и других корифеев оттепели, критиков-публицистов.

В 1956 году он был приглашён в самый передовой тогда художественный журнал «Искусство кино», напечатал несколько образцовых рецензий на популярные кинофильмы тех лет, но большую теоретическую работу у него так и не взяли.

Он чувствовал себя, да и был, белой вороной среди театроведов, киноведов, но и среди литературоведов. Не признанный театроведческим сообществом в 50-е годы, он не имел шансов получить признание и позднее. С филологическим сообществом ему тоже было не по пути. И мы имеем в виду не каких-то ретроградов, талдычивших о социалистическом реализме и о борьбе двух культур, но самых передовых, далеко ушедших. Ещё при его жизни началось мощное движение против академического литературоведения – сначала у французов, потом у нас, сначала в Париже, потом в Тарту. Уверен, что оно никак не затронуло бы его, хотя и не оставило бы равнодушным. ... Основные категории новейшей семиотической критики – знак, текст, язык, интертекстуальность, безличный дискурс. Основные категории Иофьева – автор, судьба, открытие, личная воля. За этой оппозицией – не только методологические, сколько мировоззренческие установки. Провозглашая свой знаменитый тезис «смерть автора» ..., Ролан Барт ... распространял – что главное – на литературоведческую практику марксистские, неомарксистские, а более всего – брехтовские представления об идеологии как о сфере, человеку не принадлежащей, отчуждённой от личности, полностью несвободной... Живя в Париже, читая лекции в Сорбонне или в Коллеж де Франс, выступая на коллоквиумах во всех западных столицах, французские неомарксисты трагически пережили факт своей духовной несвободы – факт, разумеется, несомненный.

А в это время в далёкой Москве, переполненной охранниками, топтунами и стукачами, молодой человек, которого не печатали и близко не подпускали к преподаванию в столичных вузах, которого преследовал, приблизительно раз в полгода вызывая к себе на явочную квартиру, капитан, а потом и майор Левин («умный и сильный следователь» – по словам самого Моти), этот самый молодой человек (тоже, между прочим, читавший Брехта и раннего Маркса) исследует поздние новеллы Бунина или «Маленькие трагедии» Пушкина, находя в них скрытое присутствие авторской судьбы и художественные открытия в сфере поэтики и в сфере языка, сделанные вопреки общепринятым стереотипам, канонам и нормам.

Он начал свою профессиональную жизнь в самое тяжёлое время для театрального критика, а тем более с таким именем – Моисей, и с такой фамилией – Иофьев. Но –

подлинный ученик Алперса – смириться не захотел. Он искал и находил свободу в ясном сознании своего положения, и это отсутствие иллюзий не делало его бездейственным или же прозякающим. В то время как многие его друзья махнули на все рукой, поносили цензуру, проклинали систему и пьянствовали, а некоторые даже продавались, он не переставал работать, принимал любые предложения, не считал ниже своего достоинства публиковаться в рекламных журнальчиках, преподавать в подмосковном техникуме культуры, ездить в командировки от ВТО (возвращаясь из такой поездки, он и погиб), а главное – не переставал писать, хотя бы и в стол, хотя бы и для двух-трёх приятелей, способных оценить нежеланную прозу. Вот, собственно, главная тема его жизни, его работ, его размышлений: возможность самореализации там, где она невозможна. Или возможна на короткое время, на единственный раз, лишь в одном или нескольких эпизодах. В красивых словах он описал этот случай в рассказе о Чороховой – солистки, но не примы Большого театра 50-х годов, изысканной, но не признанной балерины. Свои описания он кончает следующими словами: «Что ж, может быть этими мгновениями и живёт свободный человек, чьё вдохновение не находит себе простора» ...

Да, конечно, вариации Чороховой, а не Большой балет, «Маленькие трагедии», а не «Борис Годунов», новелла Бунина, а не его роман, ариетки Вертинского, песенки Шульженко, «Театр в креслах» Мюссе, театр масок Ватто – всё это изумительные иофьевские статьи (статья о Мюссе пропала) и всё это не случайный выбор, не случайный масштаб, не случайное тяготение к миниатюре. Он и Бабанову так любил, потому что свои большие роли она играла как актриса-миниатюристка, с массой подробностей и оттенков. Безоттеночного искусства он не признавал, безоттеночное искусствоведение не считал профессиональным. Он сам был критиком-новеллистом. Но, как и любимые им прозаики – Бунин и Мериме, умел почувствовать и передать напряжённейший драматизм жизни, остроту пограничных ситуаций и такие непереносимые чувства, как ослепление любви, как позор, ревность или зависть. При этом избегал каких бы то ни было жёстких формул, слишком эффектных фигур, слишком грубых оборотов. Замечательно выстраивал он свои фразы. У пианистов это называется «гуше» – гибкость и деликатность соприкосновений пальцев и клавишей; в связи с его афористичной, но и мелодично длящейся фразой можно вспомнить и другой музыкальный термин: «легато». «Существуют привязанности, которых мы себе не прощаем. Такой любовью окружено творчество Вертинского». «В искусстве классического танца время словно замедлило свой бег. То, что показалось бы безнадежно устаревшим на драматической сцене, – манера исполнения прошлого века, в танце – стиль, безукоризненно чистый, живой и впечатляющий». «Стихи, объединённые по этому в книгу, теряют во многом свою прежнюю самостоятельность: они освещают и комментируют друг друга». Так начинаются три из его статей: три лёгких, ничем не утяжелённых сентенции, в которых жизненный опыт, театроведческая эрудиция и филологические приёмы существуют на равных правах, как инструменты для строгих, но и ненавязчивых обобщений. Или просто-напросто умозаключений, основной материи мотинных статей. Это, конечно, интеллектуальная проза, в которой есть что-то от папиросного дыма (сигарет мы тогда ещё не курили, курили «Беломор», его продавали в пачках и поштучно). Подводя общий итог, можно сказать, что в классической русской художественной критике XX века место Иофьева – никем не занятое место критика-маньериста. Отсюда все качества: просвещённый традиционализм, стили-

стическое изящество, особая – может быть, и не вполне жизнеспособная – одухотворённость.

Когда-то в далёкие студенческие времена, после поездки в Царское Село и долгих поисков легендарной скамейки Иннокентия Анненского, почувствовав недомогание и услышав какой-то неслышный призыв, он прочитал мандельштамовский катрен из стихотворения «Лютеранин»:

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи.
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим как свечи.

Зная наизусть массу стихов, читать вслух он не любил, но для этого стихотворения делал исключение. Между прочим и Борис Владимирович Алперс, поэзию Мандельштама не принимавший, тоже выделял эти строки. Что при этом думал Алперс, судить не берусь, но догадываюсь, о чём думал Иофьев. Большой сердечник, оскорблённый невниманием человек, он знал, конечно, что жить ему предстоит недолго (и поэтому насыщал жизнь событиями все юношеские и все взрослые годы). Он ясно понимал, что и не пророк, и не предтеча, что последователей у него нет и не будет. К тому же любил матовый колорит, колорит неметафорической поэзии и неметафорической прозы. Колорит Константина Случевского и Иннокентия Анненского, «Анны Карениной», «Чистого понеделника» и «Фиесты». И его гибель – в 34 года, в полдень жизни – была окрашена матовым цветом.

За девять лет до того, узнав о смерти Александра Яковлевича Таирова, создателя Камерного театра (где Мотя, не попав на режиссёрский факультет ГИТИСа в 1944 году, год проработал мебельщиком), он написал некролог, начинающийся так: «Невозможно написать о Таирове-режиссёре даже в самых кратких и в самых общих словах – неудачи последних лет мешают оценить его прежние достижения» (М.Иофьев. Профили искусства, стр. 88). А заканчивался некролог следующим абзацем: «Постоянно занимала его судьба прекрасной личности. Он глубоко понимал взаимоотношения добрых и злых начал; в образе Эммы Бовари они трагически и печально слиты. Утверждение прекрасного придавало цельность его созданиям, позволяло Таирову быть радостным и увлекательным человеком. Как многие влюблённые в театр, он прекрасное охотнее всего находил на сцене, потому около тридцати лет в репертуаре сохранялся спектакль о великой французской актрисе. Это его постоянное художественное кредо. И не только художественное – известна реплика старой комедии: «Дитя, служи любви и чести, как Адриенна Лекуврер».

Меньше всего Иофьев думал о себе, когда писал эти строки – а потом прочитал по телефону их мне, потому что больше читать их было некому. Сегодня они воспринимаются как очень точный автопортрет: «как и многие влюблённые в театр, он (в данном случае – Мотя Иофьев) «прекрасное охотнее всего находил на сцене», и у него (у Моти Иофьева – критика, театроведа, искусствоведа) был свой профессиональный кодекс чести, которому он следовал неуклонно.

Глава 5

О себе, составителе

Молодость

В воспитательных заведениях

Я родился и большую часть жизни провёл в Москве, где в молодости именовался: в семье – Боба, среди друзей – Боб, Бобка, взрослым среди знакомых – в России Борис Израилевич или, как потом в Германии, проще – без отчества.

Пока отец был в тюрьме, посещал детский сад. Провёл лето 1939 года на даче районного детского сада, и даже в 1940 году меня тоже взяли на эту дачу, хотя я уже ходил в школу. Относились там ко мне хорошо, я даже изображал в спектакле одного из семи пушкинских богатырей, но не любил строгости всего этого завода, а запах пригоревшей манной каши помню до сих пор.

Донимала меня эритема, так что часто, когда группа шла гулять, меня оставляли в полутени сосен в гамаке с книжками.

В середине лета 1940 года отец приехал провести меня и усадил в леске «подкормиться». В его сумке я заметил вещевые ремни, понял, что меня могут забрать домой, и от радости расплакался. Мы вышли с Ярославского вокзала на площадь, я вдохнул бензиновый перегар и стал счастлив. Вторую половину лета я провёл с родителями в комнате в Красково, где, помню, очень болел ногами. Старшего брата там не было: пока я был на даче в детском саду, он был в пионерском лагере и там влюбился в пионервожатую (видимо, не без взаимности), так что после первой смены он решительно потребовал отправить его туда же на вторую, и родители не смогли воспротивиться.

Летом 1939 года, в отсутствие отца, мама, как она говорила, выплакала перед директором школы №128 на 2-ой Тверской-Ямской, чтобы он принял меня в первый класс: я ещё не достиг нужных для школы восьми лет, но для детского сада был уже велик, а оставлять дома ме-

ня было не с кем. В результате, во всех учебных коллективах я был одним из самых младших. Там я счастливо учился первые два класса (до эвакуации в 1941 году). Самые тёплые воспоминания – о молодой и симпатичной учительнице Елизавете Семёновне, которая подсаживалась ко мне за парту и, держа мою руку в своей, пыталась научить меня красиво писать. Не научила.

В этой же школе, в седьмом классе учился старший брат, известный в школе сорванец. Однажды он сманил меня прогулять урок. Нас, бегающих по коридорам, остановил директор Фёдор Борисович, строго исполнявший свои обязанности бывший военный, и спросил мою фамилию. Услышав, сказал: «Ещё одно мне несчастье».

Ещё один год (1941-42) учился в Челябинске и ещё один – в посёлке Шушаково под городом Лениногорском в казахской части Алтайского края.

С пятого по седьмой класс учился там же, где первые два. Школа стала чисто мужской и только семилетней, а отношение одноклассников, как и в Шушаково, антисемитски враждебным. Восхищаюсь учительницей арифметики Пелагеей Лукиничной. Немолодая очень бедная женщина с двумя детьми, стихийный энтузиаст своего дела, показала мне, в то время патологически тупому парню, увлекательность поиска решения, и я благодарен ей за это.

В 1946 году с гордостью поступил в комсомол; никаких должностей там никогда не занимал.

С седьмого по десятый класс – школа №127 в Москве у Грузинского вала в сторону Тишинского рынка. Одноклассники повзрослели, их антисемитизм стал не столь явным, как раньше, но сильно испортилось отношение ко мне некоторых учителей, в результате чего едва не был изгнан из десятого класса (подробнее об этом в главе 4 следующей части).

За верхним образованием

После окончания школы безуспешно пытался в 1949 году поступить в МЭИ на электроэнергетический факультет и затем в Московский строительный институт (и об этом – там же). Хотя до призыва в армию у меня оставался ещё год, неудача ввергла меня в депрессию. Она продолжалась один-два месяца, пока сдача экзаменов в заочный институт и начало там занятий не заставили встать с дивана.

Итак, осенью 1949 года поступил на электроэнергетический факультет Заочного энергетического института. Очного преподавания в этом институте почти не было, но учащиеся своевременно обеспечивались хорошими учебными пособиями и контрольными заданиями, их быстро возвращали проверенными. И служащие, и преподаватели относились к учащимся исключительно человечно. Важнейший момент: по закону только работающий имел право быть заочным студентом, но на первом курсе (может быть, и на следующих – не знаю) о справке с места работы только напоминали, но студента без справки не выгоняли. Отлично окончил там первый курс и, самостоятельно занимаясь науками по замечательным учебникам, впервые с удовольствием учился, к экзаменам знал практически всё и впервые поверил в свои возможности.

Друзья, встречи, семья

Что называется, повзрослев, с 14 лет потихоньку от родителей курил (пытался бросить в начале 1990-х годов в Москве и достиг успеха в конце 1990-х в Дрездене), а в 15 лет первый раз сильно напился (потом такое случалось редко).

В 1947 году впервые после войны родители достали две путёвки в дом отдыха в Тишково, что под Москвой у водохранилища. Мама и я прожили там 24 дня, и я встретился с интересными людьми, молодыми и даже взрослыми.

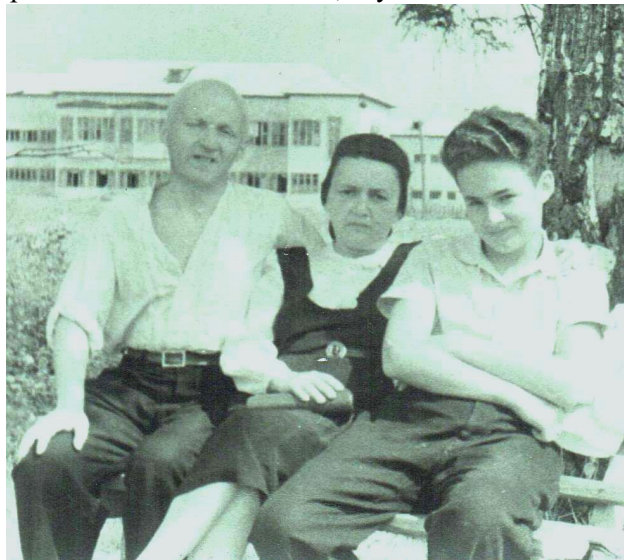
Жил в комнате с двумя приклатнёнными заводскими ребятами, чуть старше меня. Им было скучно, я им был не интересен, и они под гитару мирно пели свои новые для меня романтические песни. Кое-какие из них перебираю в памяти до сих пор.

Меня тянуло к лодкам, но, чтобы взять лодку напрокат, нужен был паспорт, да и денег не было. Я так примелькался у лодочной пристани, что двое спортивных мужчин стали брать меня в дальние прогулки по водохранилищам. Они научили подолгу грести и слушать взрослые разговоры.

Я познакомился с удивительным парнем: чуть старше меня, он поразил меня совершенно неизвестным мне настроением: он был влюблён в еврейство, в Израиль и уверен, что непременно попадёт туда. А термин «сионизм» я узнал много позже.

На обратном пути к Химкинскому порту, у поручней катера я разговаривал с симпатичной девушкой. С ней было как-то естественно,

непринуждённо, я едва ли не влюбился в неё и в приступе наивной откровенности стал задавать ей вопросы об её общественных интересах. Она испуганно замкнулась, и только много позже я догадался, что она приняла меня за доносчика, стукача.



*В Тишиково;
в воскресенье
нас навестил
отец.*

Пока учился в старших классах часто ездил с некоторыми одноклассниками или с подругой в Парк культуры кататься на коньках. У меня были «гаги»; кстати, там не позволялось кататься на «ножах», а меня и с моими гагами угораздило повредить палец моей подруги: она упала на лёд прямо передо мной. После каждого экзамена катались на лодках по Москве-реке против того же Парка культуры. Купаться ездили троллейбусом от Белорусского вокзала в Серебряный Бор, иногда с другом Робой – в Химкинский порт (Роба – Роберт жил в квартире надо мной, дружили с ним с детства).

Много ходили в балет, некоторые спектакли видели многократно, различали исполнителей. Видел даже Марину Семёнову – в балетах «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Барышня-крестьянка», мастерство нельзя было не заметить, но она была уже тяжела, пик её танца был далеко позади. Билеты обычно покупали с рук, разыскивали их сообща, самые дешёвые, и стояли потом сзади в центральных ложах бельэтажа, вручив по рублю капельдинеру (билет в первые ряды партера стоил тогда 35 руб.). С тех пор мне кажется наиболее естественным смотреть балет стоя.

Иногда моим друзьям и подругам удавалось сложиться полученными от родителей деньгами и пойти в коктейль-холл внизу улицы Горького – благо еды там почти не полагалось, и поэтому было дешево, а торчать там, слушая джазовый оркестрик, можно было до трёх часов ночи. Вечерами шлялись по улице Горького, ходили в Петровский парк, что у стадиона Динамо. Именно там мы с подругой, сидя поздним вечером на лавочке, впервые поцеловали друг друга в щеки и вышли из наступившего оцепенения так не скоро, что троллейбусов уже не видно было, и бежали до её дома у площади Маяковского бегом.

Учась в институте, часто ездил с другом Борисом (дружим с шестого класса, он теперь живёт поблизости от Дрездена) в Опалиху по Савёловской дороге бегать на лыжах. Потом бывал там не так регулярно с первой женой Леной, еще позже учил там лыжам дочь Машу, ездил с горы с Людмилой и т.д.

Летом 1952 года брат пригласил меня провести остаток каникул на туристической базе «Лисицкий бор» на Волге, где он уже второй год работал инструктором водного туризма. Я увидел совсем новую для меня жизнь и, под этим впечатлением, подговорил двух моих сокурсников провести зимние каникулы (январь 1953 года) в бедном доме отдыха Игуменка, расположенном на правом берегу Волги напротив турбазы. По левому берегу отлично ездили на лыжах. Там я познакомился с первой моей женой Леной. Любопытный штрих: разворачивалось «дело врачей», и она боялась признаться, что учится на врача.

С тех пор проводил летние каникулы на турбазе. Последний раз плавал там в 1958 году, о чём уже упомянуто в главе о брате.

В середине 1960 годов в Лисицах отдыхала моя будущая жена Людмила, и я приехал туда забирать её в Москву (как я привык, переправились через Волгу в Игуменку и от неё шли 8 км до Городни, а оттуда до Белорусского вокзала спали на полу в закрытом пустом кузове попутного холодильника).

Чуть позже мы с Людмилой купили замечательную польскую байдарку с поддувом бортов и с парусным снаряжением. С тех пор путешествовали по рекам и озерам – одни или в компании с дочерьми, с сестрой Людмилы, с друзьями и приятелями. Потом, с 1973 года, ездили на машине, и байдарки были лишь прогулочным приложением. Затем наступило время санаториев...

В 1976 году мы ехали на машине с обеими нашими дочерями Машей и Катей, с палатками и байдарками в отпуск в Прибалтику через Ленинград, где мне нужно было оформить какие-то диссертационные бумаги, и проездом сделали привал в Городне у её старинной церкви на высоком берегу над Волгой. Вышло так, что больше я в этих дорогах мне местах не был. А Лисицы – чуть ли не единственное в мире место, которое мне ещё хочется посетить. Но осуществить это не просто практически и мучительно душевно. И Лисицы, как я слышал, уже не те, да и я не тот.

В 1959 году родилась дочь Маша. Она окончила химический факультет МГУ, вышла замуж за сокурсника Сергея и быстро родила сына Мишу, а спустя несколько лет ещё одного – Митю.



Перед отъездом семьи дочери Маши в Англию.

На предотъездной фотографии, которую я сделал в машинной квартире на Планетной улице представлены (идя слева): машина мать Лена, сестра Лены Женя, подруга Маши Таня, дочь Людмилы Катя, подруга Маши Лиза, Маша, её муж Сергей, сын Кати Ваня, Людмила, сыновья Маши Митя и Миша, сын Кати Коля, муж Кати Пётр.

Кризис академической науки и быта заставил Сергея с семьёй выехать в 1992 году на исследовательскую работу в Англию. Сначала

жили там очень бедно, на его маленький начальный заработок, потом прижились. Сергей продолжает заниматься своей химической наукой, а Маша из химика переквалифицировалась в программиста, и оба работают в исследовательских институтах. Сын Миша окончил исторический факультет и работает в большой аудиторской фирме, а сын Митя обучился медицине и работает врачом-исследователем. Со временем к ним переехала мать Маши, и английская медицина поддерживает её на удивление ответственно и успешно.

В очном институте

В 1950 году я был переведён на второй курс электроэнергетического факультета МЭИ. Второй курс прошёл трудно. Дополнительно к основным непривычно обязательным лекциям, семинарам, очным контрольным работам, требовалось на занятиях в мастерских освоить азы литейного, сварочного, слесарного и токарного дела, что остальные очные студенты превосходили на первом курсе. В слесарке вручную выпилил здоровый молоток.

Со второго семестра второго курса начал получать стипендию от института, почти всегда повышенную в меру успеваемости. Эта стипендия оставалась в моем собственном распоряжении, но с тех пор родители не давали мне денег на личные расходы. Она составляла 200-300 рублей в месяц, а завтрак в институтском буфете (французская булка, 20 грамм сливочного масла в ней и чай) стоил 30-50 копеек.

Моя первая крупная покупка – с рук около магазина купил неплохо сделанные лыжи за 115 руб. Это было большой удачей.

В институте учился очень прилично, но не все предметы меня интересовали и не ко всем я нашёл подход (например, пробел в области электрических машин сказывался всю профессиональную жизнь; потом пришлось пожалеть о невнимании к немецкому языку); в результате средний балл 4,74 на одну сотую не дотянул до отличного диплома.

Не обошлось без конфликта. На втором курсе я три раза сдавал зачёт по оптике старому профессору Курепину. Всем сокурсникам оптика была зачтена с первого раза, хотя они знали не больше моего. Мне же профессор два раза вполне справедливо доказал, что я недостаточно знаю предмет, и любезно, подробно и понятнее, чем на лек-

циях, рассказал суть своей науки. Дело принимало неприятный оборот, так как без полностью сданных зачётов не допускали к экзаменам. На третий раз я знал написанный профессором учебник не хуже его самого, но получил афронт с совершенно неожиданной стороны: правильно решив задачу и получив в ответе число десять в какой-то немыслимо высокой степени, не смог назвать словами это число, за что был гневно обвинён в отсутствии культуры и опять лишён зачёта. Тут уж я обозвал профессора самодуром, и он отказался далее иметь со мной дело. Для независимого расследования кафедра физики создала комиссию во главе с её заведующим; комиссия убедилась, что курсом оптики я владею вполне, наизусть, и услышала от меня сожаление по поводу моей грубости. Тем дело и кончилось.

За время обучения три раза по месяцу был летом «на практике»:

- после третьего курса знакомился на ТЭЦ, расположенной на Подоле в Киеве, с устройством станции;
- после четвёртого курса на ТЭЦ №12 на Бережковской набережной в Москве знакомился с работой дежурного персонала в электрической части станции; там было два уникальных сооружения: 1) закрытое, т.е. расположенное внутри большого зала распределительное устройство напряжением 220 киловольт и 2) гигантская установка для химической очистки газов, образующихся в топках при сгорании сильно сернистого подмосковного угля, и попутно для получения сырья для соседнего химического завода; однако металл не выдерживал кислоты, и установка не работала;
- после пятого курса на Бутырской подстанции, которая находится между Дмитровским шоссе и Бутырским хутором, участвовал в разнообразных работах по эксплуатации релейной защиты от коротких замыканий, т.е. по своей специальности; эта сложнейшая подстанция имела распределительные устройства всей шкалы напряжений от 220 вольт до 220 киловольт.

После третьего курса и после пятого всех студентов посылали на месячные «военные сборы». Оба раза нас принимал батальон аэродромного обслуживания истребительного полка. Везли в теплушках. Первый раз – на Карельский перешеек в Парголово. А непосредственно перед разработкой дипломного проекта и присвоения звания лейтенанта (по обслуживанию электрического оборудования самолётов) привезли в Тукумс, что на Юрмале под Ригой, где стояли МИГ-17. Там, занимаясь в очередном наряде мойкой алюминиевых тарелок, я увидел вопиющую антисанитарию на кухне и после этого есть еду с кухни не мог, кормился хлебом и печеньем из буфета. Познакомился и с тем, что нам, студентам, казалось самодурством офицеров, как я понял потом, – ещё более несчастных, чем мы. На обратном пути нас

пригнали на дачный полустанок, где в латвийском буфетике, как будто так и надо, продавали сосиски с картошкой, – это был просто пир. И обратно в Москву везли не в товарных, а в «плацкартных» вагонах.

За время учёбы пришлось присутствовать на комсомольских собраниях и два раза участвовать в «общественной работе».

Перед выборами в Верховный совет меня нарядили быть «агитатором» в одном из жутких бараков между Семёновской и Госпитальной площадями. Я переписал этих горемычных, им этот совет и эти выборы в него были интересны ещё меньше, чем мне, – как полёты на луну, но они обещали всё-таки проголосовать и выполнили это.

В 1954 году меня направили на Таганку обучать политграмоте работниц ателье по пошиву одежды, и раз в неделю швеи, мечтательно глядя в потолок, слушали, как согласно конституции устроено наше государство. Я излагал понятно, не впадал в красноречие, а как устроена жизнь в государстве, они знали лучше меня. Им, наверное, было жалко меня, молоденького парнишечку, и, жалеючи, они предложили мне сшить костюм. Узнав про такую удачу, мама достала материал дикого цвета морской волны, я заплатил за шитьё и получил первый летний костюм, с которым отправился тем же летом по путёвке МЭИ в студенческий лагерь в Алупку, где костюм совершенно не потребовался.

Работа

Поступление на работу

Итак, в марте 1955 года я окончил электроэнергетический факультет МЭИ: специальность – инженер-электрик, специализация – релейная защита и автоматика энергосистем.

По окончании института работать в Москве оставили многих иногородних студентов, а из москвичей были отправлены из Москвы, кроме меня, мой друг Роба Шнейдер – в Красноярск, активные комсомольцы супруги Рудман с Рубинчиком – в Кемерово и совсем неактивный Перельман ещё куда-то. Я, уже женатый на Лене, которая окончила медицинский институт на год раньше меня и послана была на работу в Сталиногорск, получил направление работать в Донбассе на старой, построенной ещё по плану ГОЭЛРО Штеровской ГРЭС. Перед начальником управления руководящих кадров Министерства Хлебниковым, человеком спортивного сложения и точно знающим,

что со мной делать, я не сумел отбиться от этого назначения. Но зато удивительно просто появился к первому секретарю партии города Сталиногорска, и он при мне указал по телефону заведующей городским здравоохранением отпустить ко мне Лену, как только она представит справку, что я нахожусь на предписанном мне месте работы.

С тем я отправился по месту назначения. Из окна поезда видел, как по мере продвижения к Горловке постепенно исчезают леса, страна становится голой. Там в управлении Донбасской энергосистемой мне любезно предложили оказию до Штеровки, куда грузовиком везли какие-то материалы, поверх которых уселся я. Несколько часов ехали по выжженной местности с чёрными терриконами, но посёлок при станции неожиданно оказался озеленённым, ухоженным. Переночевав в доме приезжих, наутро я явился в отдел кадров станции, где, несмотря на мою торжественную бумагу-направление из Министерства, мне объявили, что я им не нужен. Вернувшись в Москву, предстал снова перед тем же Хлебниковым. Сердит он был очень – не на штеровского кадровика и даже не на меня, а скорее на то, что стоял уже 1955 год, а не 1952-ой. Прозвучало требование опять ехать в Штеровку, но, видно, он устал от меня и ушёл в отпуск. И его сотрудница, которая, сидя за своим столом, слышала наши скандальные беседы, просто по доброте предложила мне вместо Штеровки направление под Арзамас на подстанцию электропередачи от гидростанции под Куйбышевым (Самара) к Москве. Я посоветовался с отцом, он – со своими знакомыми, они подтвердили мнение сотрудницы о перспективности этого нового дела. Туда я и отправился. И никогда потом не жалел об этом.

Эксплуатационная работа

Эта подстанция находится в сыром лесу около железнодорожной ветки от районного центра Шатки Арзамасской области к не известному мне тогда закрытому объекту, который никакого отношения к подстанции не имел и много лет спустя объявился для меня как Арзамас-16 в старинном городе Саров. Подстанции ещё не было и в помине. Была вырубка в лесу, на ней сборные домики для строителей, две пары простых двухэтажных кирпичных домов для будущего персонала подстанции и «земля дыбом» на месте будущей подстанции. К ней можно было проехать по просёлочному бездорожью среди непролазной глины от Шатков (30 км) или от Арзамаса (50 км). Как приз

над въездной лежнёвкой (дорога, покрытая поперечно положенными брёвнами, утонувшими в глине) висел плакат «Стройка коммунизма».

Я получил комнату в двухкомнатной квартире на верхнем этаже. Дом был оснащён электричеством, но не водой. В магазине не было ничего, в скверной столовой и на малюсеньком рыночке – почти ничего. Местный плотник мне сбил «мебель», и я в этой комнате изучал труды о релейной защите будущей уникальной в то время электропередачи напряжением 400 кВ. Приехав туда из Сталиногорска, Лена не смогла не расплакаться. Для неё работы не было, в посёлке был фельдшер, но ставки для врача областное здравоохранение найти не могло. Жили мы на мою ничтожную зарплату молодого специалиста (88 или 880 руб. – не помню) с помощью продуктовых посылок от родителей из Москвы.

Осенью поступило распоряжение о переводе меня в Москву в центральную часть Управления дальних электропередач (об этом – в главе об отце), где было много работы по испытаниям и пуску этой самой электропередачи. Под руководством очень энергичного главного инженера Управления Виталия Александровича Вершкова я деятельно готовил и согласовывал со многими важными специалистами программы необходимых для этого операций, иногда вместе с ним участвовал в осуществлении этих программ.

Мне казалось, что вся эта деятельность неправильно уводит меня от конкретной техники релейной защиты, и я стал проситься «в низовку». Вершков старался меня вразумить, но я упёрся, и был отпущен на вторую из приёмных подстанций 400 кВ – в двух километрах от станции Бескудниково на Севере от Москвы.

Подстанция готовилась к пуску, я оказался среди строителей, монтажников-монтажников и очень квалифицированных инженеров-наладчиков устройств релейной защиты. Долгое время, пока включались первые автотрансформаторы и линии 110 и 220 кВ, я был там единственным инженером, который должен был проводить некоторые небольшие работы и принимать работу наладчиков. Они же занимались доводкой и наладкой устройств релейной защиты, поставленных заводами, имели в этом деле исключительную квалификацию и большой опыт. Мой первый наставник в практической релейной защите – Александр Ефимович Гомберг.

Мои коллеги-эксплуатационники появились на этой подстанции только в 1957 году, когда им дали квартиры в специально построен-

ных домах в Бескудниково, и тогда я был послан на ту самую Арзамасскую подстанцию 400 кВ, с которой меня перевели в Москву. Но теперь – как бы в помощь от Управления на пуск и эксплуатацию релейной защиты. Это при моих-то только что приобретённых начальных навыках! Но никто другой не соглашался, я же чувствовал себя морально обязанным. Теперь я проводил на этой подстанции по одной, две или даже по три недели – насколько хватало привезённых из Москвы продуктов.

Там релейной защитой постоянно занималась одна обременённая семьёй женщина-инженер и пара монтеров, но мало-мальски сложные работы не обходились без меня. Однажды монтеры, делая простейшую работу, устроили аварию, которую начальство приписало мне.

Тем не менее, мне предложили вступить в партию, и я с трудом уклонился, объявив себя недостойным этого. Приблизительно в это же время власти в очередной раз озаботились продуктами для прокорма населения и решили заставить промышленность передать в колхозы и совхозы сколько-то тысяч специалистов. В моем Управлении это вылилось в то, что меня пригласили на общее партийное собрание и там выдвинули в качестве единственной кандидатуры не затыкание этой дыры в сельском хозяйстве. Хотя настойчиво взывали к моей комсомольской совести (а мне ещё не минуло 28 лет) и хотя это все было для меня совершенно неожиданно, я решительно отказался, промямлив, что не для этого учился релейной защите и т.д.

На этой работе я стал уже неким специалистом, и в 1959 году меня пригласили в центральную службу релейной защиты и автоматики Московской энергосистемы на должность уже старшего инженера. От этой службы требовалось курировать по моей специальности ввод в работу электропередачи 500 кВ от новой ГЭС под Волгоградом к Москве. Служба обладала и без меня вполне квалифицированными специалистами, но каждый занимался своим привычным делом и не хотел браться за новое. На этой работе я потратил больше всего сил на приёмную московскую подстанцию 500 кВ Чагино и примыкающие к ней сети 220 и 110 кВ. Живописные подробности моей работы в энергосистеме можно найти в книге «Аварии и вокруг них», §3.6.

Рутинная периодическая пересчётка настройки релейной защиты в сети 110 и 500 кВ и беспорядочная хлопотность эксплуатационной работы с бесконечными криками по плохим телефонным линиям мне довольно скоро надоели. Однообразие не интересных дел создало у

меня впечатление о бесперспективности работы в этой службе – для меня лично и в области релейной защиты – вообще (в действительности интересные разработки только начинались, чего я не понимал). Я стал думать об автоматике, более умной, чем релейная защита, тыкался в некоторые организации, но устроиться не удавалось.

Проектная и исследовательская работа

Как раз в это время моих учителей А.М. Федосеева и В.М. Ермоленко (о них – в главе 6 третьей части), работавших не только в МЭИ, но и в проектном институте «Теплоэлектропроект», заставили как людей, творческих и дельных, сверх релейной защиты заниматься автоматикой, нужной для регулирования частоты в энергосистемах. Вокруг этой задачи шли в то время скандальные дебаты, она в СССР имела некоторые особенности по сравнению с Западом и поэтому приобрела чуть ли не политическую окраску, а по мнению высшего руководства нуждалось в ответственном и деловитом решении. Среди сотрудников отдела Федосеева не находилось желающих влезть в эту кашу, вокруг тоже. И тут на меня указал известный специалист по автоматике А.Б. Барзам: он работал в Центральном диспетчерском управлении и видел меня там на совещаниях. А я ранее уже просился к моим учителям, точнее – к Вениамину Львовичу Фабриканту, который, работая с Федосеевым, руководил моим дипломным проектом. Но это было сразу после института, ещё в 1955 году, и он не смог пробиться через отдел кадров. Теперь перейти в коллектив моих учителей я, конечно, с готовностью согласился. На моём заявлении о приёме на работу Федосеев написал несколько лестных слов (много лет спустя мне показали эту бумагу), и свершилось чудо – меня в 1961 году взяли туда, куда мне хотелось ещё 6 лет назад. (Опять – всё к лучшему: тогда я оказался бы среди разработчиков аппаратуры релейной защиты, не имея никакого опыта обращения с ней.)

Я был назначен руководителем группы, в которую вошли два инженера Людмила Николаевна Чекаловец и Владимир Афанасьевич Гладышев, уже проработавшие к этому времени по одному-два года.

С Чекаловец следовало заниматься основным делом, ради которого меня приняли в институт, – автоматическим регулированием частоты. Совместные занятия с ней пошли столь дружно, что счастливо перекинулись на личные отношения, которые продолжаются до сих пор.

А Гладышев уже раньше начал кое-что типизировать с Миррой Марковной Богоиной в области некой новой в то время автоматики. Богина с удовольствием передала мне и эту автоматику, и вместе с ней сотрудника. Это-то второстепенное, по тем понятиям, занятие, было зерном современной противоаварийной автоматики, предназначенной для противодействия развитию больших аварий в энергосистемах.

Регулирование частоты скоро перешло в другой отдел института, и мы все трое сконцентрировались на противоаварийной автоматике. Эта тема стала расширяться и углубляться, количество моих сотрудников увеличивалось, и, хотя удавалось выполнить далеко не всё задуманное и нужное делу, я до конца моей проектной и исследовательской работы не разочаровался в нём.

Для успеха нашего нового дела требовался эффективно работающий коллектив. Со временем основу составили пять-шесть специалистов, они выполняли основную работу, и вокруг них образовывались группы из несколько исполнителей. Состав групп к неудовольствию сотрудников иногда изменялся в зависимости от решаемых задач. Несколько техников выполняли простые расчёты и оформляли работы, что было до появления в начале 1990-х годов простейших компьютеров трудоёмким делом. На зависть многим эти максимум 20 человек составляли на редкость сплочённый коллектив проектного сектора, способный хорошо работать и умевший отдыхать тоже.

Работы, которые выполнял сектор, назывались проектными, но, поскольку в этих работах приходилось решать существенно новые задачи, в большинстве из них, пусть неявно, присутствовала исследовательская часть. Более того, удавалось в фоновом режиме, т.е. практически бесплатно, решать и такие задачи, которые не были непосредственно связаны с текущей работой. Тут, конечно возникали трудности, так как премией, полученной «за досрочное выполнение» конкретной проектной работы, приходилось делиться с сотрудниками, не имевшими к ней прямого отношения, – практика, между прочим, противозаконная. Но нельзя было не заметить, что наше понимание дела углублялось и возможности нашей автоматики расширялись.

А изменение пришло с неожиданной стороны.

После лет десяти занятий противоаварийной автоматикой мне показалось, что я в ней уже кое-что понял, и у меня возникла потребность убедиться в этом. Мой аппарат познания так устроен, что для этого мне требуется изложить решение проблемы на бумаге – то, что

не написано внятно, не понятно. И я написал длинный текст, и по предложению моего института его издали в 1974 году в виде книги.

Институт «Энергосетьпроект» создал в 1962 году Сергей Сергеевич Рокотян (1908-1977). Он был его главным инженером и не только техническим и научным центром института, но и организационным и психологическим. Он и его заместитель Борис Сергеевич Успенский вполне отдавали себе отчёт в важности и сложности занятий управлением энергосистемами и ценили то, что делалось в противоаварийной автоматике. В связи со стилем их работы замечу, что способность быстро решать практические вопросы – полезнейшее свойство руководителя, в частности – проектировщика. Но в новом и сложном деле за частным вопросом иногда скрывается серьёзная проблема, этим оно и интересно, но нужно её разглядеть, решиться на исследование и вдобавок к уже найденному частному найти общее решение.

После выхода моей книги Рокотян порекомендовал мне защитить диссертацию. За советом о том, как это сделать, я пришёл в МЭИ к Федосееву. Отношения же с ним были осложнены моей выходкой, по поводу которой вспоминается стих Пушкина: «И с отвращением читая жизнь мою, ...».

Приблизительно в 1972 году Чекаловец и ещё одна сотрудница отдела приехали из командировки в Пакистан и стали согласовывать свои выработанные там предложения. Одно из них – делить сеть 110 кВ после отключения шунтирующей её линии 500кВ. Я взъелся: они, мол, не позаботились о балансе мощности в сети 110 кВ после ее разделения, но конечно, – и из самолюбия. На большом совещании у Федосеева я не нашёл убедительных аргументов и понимания, он резюмировал, мол, пусть так и останется, все стали расходиться, а мне это казалось столь важным и обидным, что заявил, что он ничего в этом не понимает...

Через несколько дней перед заседанием возглавляемой им комиссии по релейной защите он стоял один перед входом в аудиторию и как бы принимал парад релейщиков. Я к нему подошёл и попросил прощения за грубость и несправедливость. Он это сдержанно принял. Он и вообще не был внешне эмоциональным человеком. И вот уже сколько лет мне стыдно той выходки.

Тепло его отношения ко мне исчезло. Однако, когда в 1975 году я обратился за советом, защищать ли свою книжку в качестве диссертации, он не уклонился: решительно отсоветовал иметь дело с учёным

советом МЭИ, рекомендовал Ленинградский ЛПИ, попросил одного ленинградского доктора наук быть моим оппонентом. Защита так именно и состоялась. Об отзыве на мою диссертационную книгу я не просил, а он такого отзыва не предложил. Он был один из немногих, кто к своим отзывам относился внимательно, а иногда и осторожно.

Из моей альма-матер МЭИ все-таки пришёл отзыв. Это был хороший короткий отзыв от Валентина Андреевича Веникова, но отзыв личный, а не от имени кафедры энергосистем, которой он заведовал.

В ЛПИ подготовкой к моей защите со мной занимался заведующий кафедрой энергосистем очень серьёзный учёный и любезнейший человек Олег Владимирович Щербачёв. Обстановка защиты была вполне академически чинной, требовательной и дружественной. Может быть, этому способствовала красота зала с замечательным овальным столом, за которым на удобных стульях сидели члены совета.



*Временами сидели и
беседовали не плохо,
хотя и просто.
Здесь Людмила,
Е.А. Марченко
и я.*

Состоялось любопытное обсуждение моей персоны, а не только работы. Один учёный чиновник министерства З-н написал в своём личном отзыве, что книга хороша, а её автор плох своим характером, мешающим расцветать всем цветам в автоматике. Ему забавно оппонировал Евгений Андреевич Марченко, тогда директор ленинградского института постоянного тока (НИИПТ), человек, насколько я могу судить, совсем не авторитарный. Он подробно рассказал что-то в том роде, что без твёрдого характера и знания, куда идёшь, новое дело не создашь.

Пакистанский проект, из-за которого я допустил дерзость, пошёл в корзину, так как СССР поддержал Индию в отторжении ею Бангладеш от Пакистана. А после смерти Алексея Михайловича его супруга и в то же время одна из самых уважаемых

сотрудниц нашего отдела Бина Яковлевна Смелянская нашла в его бумагах мою курсовую исследовательскую работу, которую я делал под его руководством, и передала мне (в ней я свёл воедино два ряда уравнений из его книги, описывающих некое сложное реле).

Тем временем в институте и в отделе произошли изменения, косвенно отражавшие изменения в стране. Федосеев прекратил заведовать отделом, оставив за собой работу в МЭИ. Его верный партийный заместитель ушёл на пенсию. Наступил короткий период совсем беспартийного руководства, после чего оно стало полностью партийным.

И вот, вскоре после защиты мною диссертации, в 1976 году, Рокотян призвал к себе в кабинет следующую компанию: Б. – его недавний заместитель по нашей тематике, заменивший Успенского, Ф. – начальник отдела, в котором числился мой сектор, Л. – его заместитель и я – в то время главный инженер проекта и начальник сектора противоаварийной автоматики. Рокотян объявил, что требуются углублённые занятия противоаварийным управлением, что в коллективе вырастили, как видно по книге, своего специалиста и что поэтому нужно создать исследовательскую лабораторию по этому направлению, а её начальником назначить меня. Это решение было неожиданным для всех приглашённых, мои начальники не решились спорить.

Это нововведение, безусловно в принципе полезное, вызвало, однако, разделение ранее единого коллектива на две части. Возник обоюднo губительный разрыв между разработками практическими и исследовательскими, влияние вторых на первые почти полностью потерялось, а исследования в проектной части прекратились. В исследовательской же части зарплата сотрудников, кроме руководителя, была несколько ниже, и сотрудники находились в ней неохотно. Отсюда возникли трудности развития, что, впрочем, соответствовало ухудшение ситуации в целом.

Руководить оставшимся без меня проектным сектором назначили Г.Л. Брухиса. Мы учились в МЭИ на одном курсе, а вновь встретились в конце 1960-х годов на Конаковской ГРЭС. Там он занимался наладкой всякой автоматики, а я с сотрудниками проводил испытания быстрого уменьшения мощности турбины 300 МВт (об этих испытаниях подробнее – в главе 6 четвёртой части). Будучи далёк от наших проблем, он не верил в успех испытаний, но, не теряя достоинства, всё же чётко способствовал ему, и я пригласил его работать со мной. Это не без понятной трудности осуществилось. Он стал полезнейшим сотрудником: во всевозможной аппаратуре он понимал и был опытен много больше, чем любой из нашего коллектива, в том числе и я (мы много занимались функциями и надёжностью устройств, но не имели вкуса лезть

внутри, а частенько это требовалось). Характерная особенность: он, по натуре спортсмен, человек быстрый, наталкиваясь в работе на трудность, так быстро находил удовлетворительное решение, пусть не всегда наилучшее в отношении перспективности, что редко успевал обратиться за советом и практически никогда не инициировал исследования той проблемы, которая создавала эту трудность. Удачно найденный ответ его радовал не меньше, чем в волейболе поставленный им в обход блока «кол».

С началом «перестройки» Брухис увлёкся общественными делами, был избран председателем общепрофсоюзного, как тогда называлось, «Совета трудового коллектива» – некоего подобия профсоюза. Он мог разговаривать с руководителями института с позиции справедливости, но на внятном им языке и кое-чего добиваться во благо сотрудников.

Общение с Брухисом почти совсем прекратилось после моего ухода из института. Я ему несколько раз безответно писал, заходил, бывая в Москве, к нему в кабинет, приглашал его посетить меня, но возникало впечатление, что он не склонен к этому. Мне не известны его общественные взгляды, но не показалось бы удивительным мнение, что он, как говорят, ни разу не бывавший за границей, осудительно относился к выезду из страны (в силу ли воспитания или приверженности командному спорту?).

Смерть основателя института С.С. Рокотяна, когда общая обстановка в стране становилась все более казённой, привела к руководству слой людей, которым, если что-нибудь и требовалось, это показ начальству послушания и немедленных успехов. В этих условиях развивать столь новое направление работы, как противоаварийное управление, становилось все труднее, несмотря на большую актуальность и, казалось бы, всеобщий интерес к нему. В сущности, ясно выявилась порочность системы взаимоотношений, которая существовала и раньше, но смягчалась приветственным отношением руководства и поэтому могла долго не замечаться. Её суть: автор был ответственным за развитие противоаварийной автоматики и в этой области координировал главные сначала проектные, а потом научно-исследовательские работы в стране, но для выполнения этих обязанностей не имел никаких прав, ни организационных, ни финансовых. Даже в подборе и выдвижении специалистов в лаборатории была полная зависимость от не заинтересованного делом начальства.

Например, если мне нужно было принять специалиста и он был евреем (а иные на столь сложную и не очень оплачиваемую работу не шли), в отделе кадров мне объясняли, что в институте таких и так много, а у меня и подавно, комиссии же райкома недовольны. Однажды я написал очередные предложения о перемещении по должностям и зарплатам моих сотрудников, и заместитель начальника отдела Бардачёв, одновременно парторг и запойный пьяница, задал мне вопрос: почему, мол, на должность ещё одного главного инженера про-

екта я выдвигаю И.З. Глускина (некоторым он казался скрытым евреем), а не В.А. Гладышева. Я ответил, что оба чудные парни, но первый эти функции уже практически выполняет, легче контактирует со смежными организациями и его эрудиция шире. Конечно, Бардачёва это не убедило. По примеру отношений комиссары – спецы, этот парторг был уверен, что специалисты свои самые важные знания скрывают от простых, как он, людей, и я должен научить всему и Гладышева. Другая беседа – на этот раз с директором института, неглупым сибаритом, в компании свойским парнем. При упоминании об этом же Глускине его глаза сделались сонно-оловянными, видно было, что я рисуюсь ему существом из другого мира, глупого и презираемого, говорить со мной ему просто скучно.

Кстати, через несколько лет, когда этому директору потребовалось не просто выполнять «спущенные сверху планы», а добывать заказы и зарабатывать реальные деньги для института и для себя лично, он сделал того же Глускина, своим заместителем, а потом и вовсе поменялся с ним местами.



*На субботнике в пионерском лагере института «Полянка» под Истрой.
Слева-направо: В.М. Лагускер, В.К. Сазонов (разработчик электронной модели энергосистемы, будущий начальник), автор, И.З. Глускин, Тюрин (техник, работавший в нашем секторе после службы во флоте).*

Сверх того, полное отсутствие перспективы роста у меня лично заперло карьерный рост моих сотрудников; некоторые пытались всту-

пить в партию, что не удавалось, и стали искать обходные пути – по моей личной тематике, но помимо меня. Так, один из сотрудников В.М. Лагускер, толковый, энергичный, вдобавок борец по спортивному опыту и по натуре, своим стремлением к заработку (понятным, но в ущерб другим сотрудникам) и к карьере серьёзно ухудшил положение нашего дела в целом и осложнил моё положение в частности. Этим воспользовалось партбюро, которое в моем присутствии, признав мою высокую квалификацию, сочло, что этого мало, и призвало администрацию института к «оргвыводам» – лишить меня руководства моим делом. Но на дворе был уже 1986 год, и этого они не достигли: сотрудники написали письмо в мою защиту, практически все подписали его, и в результате заварившему кашу сотруднику пришлось уйти не только на другую тематику, но и в другой институт. Жаль, что он сумел захватить с собой очень нужную мне для исследовательских работ сотрудницу Татьяну Викторовну Васькову, более нужную, чем он (она была ему чем-то обязана лично).

Частности всех этих перипетий заслоняли от меня ту закономерность происходящего, которую я кратко охарактеризовал выше, но тогда, будучи озабочен делом, не осознавал. Поэтому я пытался сохранить уровень работы уже не годными методами. Из этого мало что получалось, сотрудники это видели, их энтузиазм кончился, и дело рассыпалось.

Между тем, мои личные исследования заметно продвигались, как концептуально, так и в отдельных практических приложениях.

В новом времени

С начала 1990-х годов и даже раньше финансирование работ со стороны моего государственного института стало иссякать, что же касается конкретно моих работ, то оно и совсем прекратилось. Теперь, наоборот, мне нужно было самому находить заказы для института в Министерстве или в энергосистемах.

Добыча заказов и потом их оплаты осложнялись по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, сотрудники, которые в своей организации продвигали заказ, обычно желали получить за эту деятельность что-то взамен, например, в форме оплаты участия в выполнении работы, которое могло быть как действительным, так и фиктивным. Во-вторых, из полученных институтом сумм исполнители получали едва 40%, а остальное шло на налоги и, в основном, на содержание

администрации института. Естественно, это делало практически невозможным делиться с заказчиками. Обычный выход из этого положения заключался в том, что для выполнения части работ институт брал в качестве субподрядчика частную фирму, которая нанимала непосредственных исполнителей работы. Использование этого пути поднимала реальный заработок до 90-95% от стоимости субподрядной работы. Вся эта деятельность по превращению безналичного финансирования в наличные деньги была прозрачна для администрации, и поэтому она в своих собственных интересах часто манкировала оплатой работы, выполненной такой субподрядной фирмой.

Оглядываясь назад, полагаю, что упомянутый род деятельности, допущенный в стране с целью оживления производства, нарушил главное финансовое правило советского социализма – щедро питать всевозможное производство безналичными деньгами и по мере сил строго лимитировать объём наличных денег, поступающих населению. Это нарушение привело к жестокой инфляции. Думая столь критически, не могу, однако, похвалиться знанием иного выхода из сложившегося тогда скверного положения в стране.

Мои способности в подобных организационных делах невелики, и это решительно отражалось на заработках как моих, так и моих сотрудников. Они не более чем покрывали мои минимальные потребности, сформировавшиеся раньше (уже без автомобиля). Сотрудники жаловались на инфляцию, на цены, я им отвечал, что не в больших ценах дело, их мы изменить не можем, а в ничтожных заработках, и нужно интенсивно работать, повернувшись лицом к нуждам заказчиков. Это не получалось.

Характер заказов, которые в то время удавалось получать, был почти всегда таков, что их выполнение нуждалось в высокой квалификации и почти совсем не требовало технической работы. Для этих сложных работ требовался, в основном, мой личный вклад: мои знания, мои мысли и моя способность изложить их. Результатом явилось расставание с моими сотрудниками, которые прежде были востребованы, а в новых условиях – нет. В новых условиях и сами сотрудники искали новые пути.

В сущности, государственный институт становился распределителем работ между частными субподрядными фирмами. Отсюда – один шаг до организации таких дочерних фирм непосредственно при институте с его коммерческим участием, такой вариант я предложил для противоаварийной автоматики, но моё предложение было по не-

знанию слишком сырым, а руководство института психологически не было готово к таким новациям.

Первый посторонний заказ для себя лично я получил от шведской части корпорации АВВ в 1995 году, как ответ на моё предложение математически прогнозировать во время реального протекания аварии, приведёт ли аварийное возмущение в энергосистеме к нарушению параллельной работы её генераторов. Эта тема разрабатывалась лишь в рамках моей семьи без какой-либо связи с институтом. Начальные исследования были выполнены для АВВ, остальное для себя, и всё в целом опубликовано в монографии 2011 года (см. список литературы в конце третьей части, ссылки 15и 25).

Переезд в Германию

Решение

С начала 1990-х годов моя связь с институтом становилась все менее плотной, обстановка же в стране после осени 1993 года, когда произошло вооружённое столкновение президента с парламентом, выглядела довольно безнадёжно.

По одной из моих работ я был знаком с хорошим инженером, который, будучи сторонником левой справедливости, находился у здания парламента, за компанию вошёл в автобус, выгрузился из него в Останкино у телецентра, там попал под обстрел и был ранен.

В ответ на призыв моей бывшей жены Лены присоединиться к ней и её сестре Жене для переезда в Германию, я (со мной Людмила) и мама подали на всякий случай заявления в германское консульство. В марте 1996 года, как снег на голову, по почте пришло разрешение на

Показатель	Вес показателя	Оценка переезда баллом	Итоговая оценка
Близость к родственникам, друзьям	3	-5	-15
Освобождение дочерей от обузы опекать нас в старости	5	+4	+20
Будущее одиночество	5	-4	-20
Безопасность	4	+5	+20
Новизна	3	+5	+15
Путешествия	4	+5	+20
Язык	1	-5	-5
Доступность культуры	4	-3	-12
Медицина	4	+4	+16
Факт перемещения	2	-5	-10

всех троих, крайний срок для выезда наступал через год, и мы погрузились в раздумье. Как и все вокруг, мы отнеслись к переезду чересчур серьезно, как будто мы собираемся безвозвратно не то подняться в рай, не то спуститься в ад. Решение далось нелегко.

В начале 1997 года я прибег даже к формальной оценке последствий переезда. В приведённой на предыдущей странице таблице показаны оценки нескольких важных преимуществ и недостатков. Многие из них сегодня представляются совершенно наивными: вес языка, например, чудовищно занижен. Но итог позвал в дорогу.

В марте 1997 года Людмила и я выехали в Германию.

В Германии

Первые годы мы жили в Дрездене и почти пять лет получали от Саксонии социальную помощь. Временами дополнительно к ней мы имели небольшой заработок сначала от ABB по упомянутой теме, затем по разным практическим и теоретическим проблемам от Siemens. Этот заработок полностью покрывал наши производственные расходы (компьютеры, проезд и пр.), и только 30% от остатка закон разрешал использовать на бытовые нужды. На самом деле, видя наши усилия к самостоятельности и поверив в их перспективность, чиновники социального ведомства не рвались забирать излишки.

Сотрудничество с ABB было осложнено людмилиным слабым знанием английского, так что приходилось нанимать переводчика, однажды даже взяли его с собой в Швецию. Немного помогла нам дочь Маша, но ей хватало своих забот. Работа же с Siemens шла на русском, поскольку нужна была фирме для продвижения их продукции на русском рынке.

С 01.01.2002 я зарегистрировал в ведомстве по рабочим делам своё «Ingenieurbüro für Antihavarieautomatik», и мы отказались от социальной помощи. С этого времени я стал Selbstständige – стоящим независимо, налогоплательщиком. Все отношения с налоговым ведомством вела Людмила.

Несмотря на слабое знание немецкого языка, финансовая самостоятельность позволила нам получить германское подданство (в то время это можно было сделать, не теряя российского) и избавиться от прикрепления к Дрездену – мы переехали в Берлин.

Приблизительно с этого времени мой заказчик – фирма, владельцем которого является упомянутый выше Глушкин, наш бывший уче-

ник и потом мой соавтор в большой монографии. Он не мешал мне разрабатывать для его фирмы математические методы и алгоритмы, как я это считал правильным, а я не возражал против того, что вместо моих новаций его фирма применяла мои же более простые алгоритмы, разработанные лет 30 назад.

Проведённые в ходе этих работ исследования дали значительную часть материалов для двухтомной совместной с Глускиным монографии о противоаварийной автоматике, опубликованной 2009 и 2011 годах.

В 2012 году за отсутствием заказов Ingenieurbüro пришлось закрыть. С тех пор написана и опубликована книга об авариях и создана книга, которую Вы читаете.

Общественная работа

В 2001 году у нескольких моих дрезденских приятелей и у меня возникла идея способствовать реализации в Германии интеллектуальных возможностей наиболее квалифицированных эмигрантов – выходцев из государств бывшего СССР. Мы полагали, что их знания и опыт могли бы с успехом использоваться не только в их интересах, но и в интересах немецкого общества. Как раз этот контингент из-за возраста и очень ограниченного знания немецкого языка не имел спроса на обычном рынке работы, а, с другой стороны, какие-либо структуры, которые могли бы интегрировать этот контингент отсутствовали.

Вознамерившись исправлять это положение, мы создали «Kultur-, Ingenieur- und Wissenschaftsgesellschaft e.V.» – Общество культуры, инженерии и науки, сокращённо KIW-Gesellschaft. Я был избран председателем правления этого общества, которое насчитывало тогда 15 членов. Оно преследовало довольно амбициозные цели в области адаптации и даже интеграции членов общества, реализации их know-how, а также, и, может быть, это было главным, интеллектуального общения и обмена информацией. Это общество существует по сей день, но уже под другим руководством.

Встречи с медициной

В детстве Морозовская больница вылечила от скарлатины, но врачи, умевшие тогда выслушивать сердце, стали находить «нечистоту первого тона». То ли это, то ли испуг после смерти брата Арона и собственные недомогания настроили маму на по-

вышенное внимание к моему сердцу, и эта мнительность была внушена и мне. Поэтому любые неприятные ощущения внутри я приписывал сердцу, правда, некоторую роль отводил спине и уж в последнюю очередь – желудку. Какие только врачи меня не смотрели – рекомендованные мне большие специалисты и просто самоуверенные самозванцы. Некий платный профессор ничего не находя «со стороны сердца», тем не менее порекомендовал мне глотать аспирин, и пугливо отменил это, догадавшись, наконец, отвести меня на просмотр живота с помощью ультразвука. Одновременно, некий не то массажист, не то мануальный терапевт так усердно занимался моей спиной с помощью рук и лазера, что у меня каждый раз образовывались боли. Они стали донимать меня и ночью.

Кончилось тем, что по дороге с работы домой на метро-эскалаторе возникла тошнота, Людмила едва успела подать пластиковый пакет, и из меня изверглось литра полтора кровавой массы. Дома извержение продолжалось и снизу. Наутро Людмила позвонила некоей магине по желудку из института питания, которая многие годы внедряла диету в голову маме и затем в нас обоих; та предложила приехать к ней в институт. Тогда Людмила вызвала нашего участкового врача; та, едва пощупав живот, тут же вызвала скорую помощь, меня быстро отвезли в обычную бедную больницу, и там часа через два в желудок залезла шлангом очень внимательная женщина-гастрэнтеролог. Она обнаружила кровотечение и, долго и больно повозившись, уколами успокоила язву. И, спасибо ей, помогло! Хотя у врачей-хирургов чесались руки сделать мне ночью операцию и заставить Людмилу где-то купить и привести им кровь, та не стала этого делать и не ушла домой, пока они не поклялись без неё не оперировать. Дней через десять эта же гастроэнтеролог установила, что язва зажила, и я вышел из больницы.

Скоро удалось убедиться, что при болях, как я думал, в сердце и даже в спине помогает маолокс – всего-навсего обволакивающая таблетка, нейтрализующая желудочный сок. Как дальше жить, стало яснее.

Все эти желудочные приключения прекратились, когда вскоре после переезда мне дали пять таблеток антибиотика, который уничтожил некую бактерию в желудке.

Следующий этап оздоровления наступил через год – мою обременительную привязанность к туалетам устранили две операции на простате (действовали через мочевой канал и повредили его; пришлось вторично влезть, чтобы это исправить).

Более серьёзное приключение началось 1-го декабря 2009 года. Позвонил наш Hausarzt (буквально – домашний врач, т.е. врач-терапевт, которого мы периодически посещаем за счёт медицинской страховки) и пригласил к себе. Он сообщил, что гистологический анализ, проведённый после планового исследования, выявил раковые клетки. Возникли пугающие версии о запущенности, и этот врач быстро устроил меня в берлинскую клинику Charité. Там пожилой гастроэнтеролог по фамилии Adler (в переводе – орёл) решительно назвал версии словом Quatsch (ерунда, глупость) и успокоил тем, что опухоль ещё мала – всего 18 мм. Уже 17-го декабря сделали операцию и вырезали с запасом большую часть желудка. Целые дни Людмила была рядом; приоткрыв глаза, я видел, что она внимательно смотрит на меня. Новый год встретил с ней дома. С тех пор ежегодно отдаю свой живот на просмотр изнутри и снаружи, глазами и разными лучами.

И жив пока, чему не перестаю удивляться.

Дополнение. Из письма Людмилы о её родителях

О маме. Она была очень хорошей мамой для нас с Ирой и бабушкой для Кати и Максима. Но прожила она так недолго!

К сожалению, все наши бумаги пропали при эвакуации – у меня даже свидетельство о рождении из Казахстана. Часть бумаг была уничтожена потом отцом: как ты знаешь, люди, особенно, в должности отца, боялись хранить лишние бумаги.

Должна с горечью признаться, что по глупости мы недостаточно интересовались прошлым семьи. Теперь я об этом очень жалею, но сделать мало что можно. Я попытаюсь связаться с Минском, где живёт мой последний двоюродный брат с маминой стороны, – он старше меня немного и, может быть, что-то знает дополнительно.

Я же знаю не очень много.

Настоящее имя мамы Дворецкая Гольда Зуселевна, а году в 1950-м мама сказала, что все знакомые просят её называться попроще, и стали её звать Галиной Зосимовной. Родилась она в 1910 году в Гомеле.

Гольда – это значит золотая, а отца её звали типичным еврейским именем Зюс. Нам всегда говорили, что он был сапожником, но теперь я в этом сомневаюсь, так как мама начала учиться в гимназии в Минске ещё до революции, да и их фамилия не очень этой профессии соответствует.

У мамы было четыре сестры. Одна из них (Рива) стала подпольщицей, а в 1918-1919 гг. принимала участие в становлении Советской власти в Мозыре. В 1920 г. партия направила её в Киев, и она отправилась туда по Днепру на пароходе. Его захватили петлюровцы. Уцелевшие рассказали, что ей было предложено перейти на их сторону, она отказалась. Её утопили. Другая сестра (Броня) работала в ЦК комсомола и затем в ЦК партии Белоруссии. Она скоропостижно скончалась в 1930 году. Её муж Ирма был расстрелян в 1937-м. Такая же участь, видимо, ждала и её. Остальные две сестры дожили в Минске до очень преклонного возраста.

По окончании гимназии мама поступила на рабфак, а потом, прибавив себе два года (потом всегда считалось, что она с 1908 года), поступила на химический факультет Московского университета. Во время учёбы она жила на Стромынке, где было много разных студенческих общежитий. Мама была маленького роста (мне по плечо), с темными кудрями и очень хорошенькая. Но она влюбилась и вышла замуж за очень высокого, с деревенским окающим говором студента педагогического института – как тогда казалось, будущего сельского учителя Николая Александровича Хватова (1906 года).

Учителем отцу стать не довелось: после сталинской чистки армии ей требовались кадры, и его мобилизовали. Он закончил военную ака-

демию, стал офицером-политработником, пройдя войну, продолжал служить и в мирное время, и закончил свою военную карьеру генералом.

Мама же провела почти всю свою молодую жизнь типичной женой военного – бесконечные переезды, воспитание детей и создание конспектов партучёбы. Так, я родилась в 1936 году в Ленинграде, а Ира в 1938 – в Москве, где отцу дали комнату в большом доме у стадиона Динамо. А в 1940 году мы уже жили в Риге, куда вошла Красная Армия и отец с ней. В Риге мама работала, а мы с Ирой находились дома с няней. Началась война, отец тут же оказался на фронте, мы остались с мамой, а 29 июня Ригу уже заняли немцы.

Первое моё впечатление от войны – это лицо мамы, которая прибежала домой во время воздушной тревоги и увидела, что мы с нашей няней пьём чай на балконе: няня воздушной тревоги не слышала. Следующее впечатление – это нахождение в бомбоубежище, то есть это был, видимо, склад для дров, и эти дрова были сложены вдоль его внешней стены. При близком разрыве бомбы все эти дрова на нас посыпались, и началась паника и давка. Больше о военной жизни в Риге я ничего не помню кроме дороги, а вернее, бегства в эвакуацию.

Нам удалось уехать из Риги, кажется, последним из эшелонов, которые вообще смогли оттуда выехать. Было это 27 июня. Отец рассказывал, что этот эшелон был составлен для семей военных, они за ним следили и помогали пробиться в тыл. Три первых вагона нашего эшелона разбомбили, эшелон изменил направление движения и смог вырваться. При каждой бомбёжке эшелон останавливался, и люди отбегали от вагонов. Сначала мама бежала вместе со всеми, но потом с двумя маленькими детьми уже далеко бежать не могла, и поэтому мы просто выбегали из вагона и ложились под насыпь лицом вверх. Мне казалось, что самолёты летят прямо на меня, и я и сейчас помню этот свой крик. Ещё много лет после войны я просыпалась ночью от воя самолётов и моего страшного крика. Где-то во мне бомбёжки осели надолго.

Отец почти ничего не рассказывал о войне, но в связи с Ригой рассказал такой эпизод. Среди всей паники он решил вывести армейский архив. Нашёл полуторку, взял пару солдат, они прицепили к кузову пушку и рванули подальше от немцев. По дороге увидели, что поблизости какие-то стреляют из пулемёта по идущему эшелону с бе-

женцами. Остановились, развернули пушку и прямой наводкой стрелков успокоили. Не наш ли это был эшелон?

Ещё помню, как он непривычно резко возразил на шутки по поводу обилия конницы в армии 1941 года: «Пока было отступление, что бы мы жрали, если б не лошади?»

Потом был долгий путь на Восток. Поскольку мама могла крепко держать в руках только нас – своих двух девочек – все наши вещи и документы были украдены или потеряны. У нас было только то, что на нас надето. Я помню, как какой-то мужчина в военной форме дал маме плитку шоколада, чтобы она могла нас чем-то покормить. Я мало помню весь этот путь, так как после летающих над моей головой и бомбящих нас самолётов он не так врезался мне в память. Но я хорошо помню слова мамы, которая потом говорила, что если бы она не была еврейкой, то ни за что не пустилась бы в такую дорогу из Риги. А так выхода у неё не было, тем более при муже-военном.

Наш путь был долгой дорогой странствий от одних родственников или знакомых к другим, пока мы не добрались до города Уральска (он в Казахстане), где жила сестра моего отца Плаунова Мария Александровна с двумя её сыновьями – нашими с сестрой одногодками Владимиром и Анатолием.

Там мы жили, как и все эвакуированные. Мама работала, мы с Ирой ходили в детский сад. Ездили с мамой на полевые работы, сажали собственную картошку на выделенном нам далеко от дома клочке земли, потом всю её кто-то выкопал и украл у нас.

В Уральске нас разыскал отец, получивший отпуск после ранения. После этого мама стала получать так называемый аттестат – как бы часть зарплаты отца, и жить стало легче. В 1943 году мы вернулись в Москву и жили по очереди у маминых подруг, так как своего жилья у нас не было.

В сентябре 1943 года я пошла учиться в первый класс школы. Мама давала мне с собой кусок хлеба, так как я была очень тощая и слабая. Но этот хлеб у меня отбирали, и учительница попросила маму этого не делать.

Отец закончил войну с Гитлером в Кёнигсберге, откуда их пятую армию перебросили на Дальний Восток для войны с Японией. Когда и эта война кончилась, отец вызвал нас к себе в город Спасск (это ко-

торый со «штурмовыми ночами»). Потом мы жили в Хабаровске и в городе Ворошилов Уссурийский (теперь Уссурийск).

Свой брак родители официально оформили в 1947 году, как раз когда распадалось много браков, заключённых военными до войны, и когда брак с моей мамой стал не слишком подходящим для отцовского положения.

В 1952 году отец был делегатом 19-го съезда партии. В Москве во время съезда у него случился обширный инфаркт, и его перевели на работу в Москву. Но в 1956 году, когда была предпринята попытка реконструировать армию, отец в числе многих его знакомых и товарищей ушёл в отставку – он не захотел, как он объяснял нам, принять другую более низкую должность. Мы очень за него беспокоились, так как не представляли себе, что он без работы делать будет. Но тут произошло его первое образование: он стал преподавать в техникуме экономику и делал это много лет, ведя при этом и общественную работу с ветеранами. В 1959 году армия предоставила ему небольшой дачный участок под Москвой и не задорого (по теперешним понятиям) построила бревенчатый дом, колодец и на краю участка сарай и туалетную будку. С тех пор родители проводили лето там, и там же проходило воспитание внуков и правнуков.

Это были хорошие для нашей семьи годы. Страх, преследующий людей, после смерти Сталина ослабел, отец работал в Генштабе, у нас была хорошая квартира у Таганки, почти в центре города. До этого наша семья пользовалась казённой мебелью с бирками, а теперь родители завели свою.

В смысле военных трофеев отец держал себя в строгости, был белой вороной. С войны с Германией привёз большую репродукцию картины, изображавшей пейзаж с коровами, а из Китая – вазу с сельским пейзажами и японский большой кинжал. Всё.

Я успешно поступила в институт, Ира хорошо закончила школу и тоже поступила в институт, вела наш дом мама. Мои родители не были довольны разводом с моим первым мужем, так как очень любили внуку Катю. Но их опасения не оправдались. Катя даже хотела при получении паспорта взять борины отчество и фамилию, но дедушка решительно возразил против такого нарушения порядка.

А мама до самой своей смерти в 1979 году вела отцовский дом, помогала растить внуков, особенно мою Катю, и незадолго до болезни,

которая в конце концов её погубила, во время семейного праздника (не помню какого) сказала, что она довольна прожитой ею жизнью.

Отец, соединившись с семьёй Кати, жил ещё долго и умер после многих болезней в 1992 году. На поминках представитель армии сказал, что перед похоронами он ознакомился с личным делом отца и обнаружил, что отец прошёл службу вполне достойно, без бесчестия.

Много повидав отношение отца к людям более низкого социального положения, к адъютанту, денщику, рабочим, я поражаюсь тому, что до меня доходит о жестокости в современной армии. Так что с представлениями многих о том, как должна выглядеть генеральская семья, наша семья не очень совпадала.

В заключение – два характерных случая с участием унитазов.

Через пару дней, после того как мы с Борей съехались вместе, утром приехала моя мама подежурить в квартире, пока мы на работе. Вернувшись вечером, мы её уже не застали, а кто-то из нас, зайдя в туалет, был поражён тем, что в унитазе многолетний чёрный налёт исчез. Мы его уже пытались чем-то оттереть, но безуспешно, а она, оказывается, решительно взяла длинную борину отвёртку и ею отскоблила.

В доме, где после смерти мамы мы некоторое время жили вместе с отцом, вдруг затеялся ремонт, сантехник в присутствии отца сменил унитаз. Придя с работы домой, мы увидели, что новый унитаз стоит заметно косо по отношению к стенам. Боря сказал, что его инженерный глаз этого переносить не может, и он заставит строителей переделать. Отец же решительно возразил, что, мол, мужик старался, ну, не совсем точно получилось, нельзя из-за такой мелочи рабочего человека дёргать, у того неприятности могут возникнуть. Его мнение – закон, и я попросила дюжего ремонтника поправить унитаз частным порядком, за наши деньги. И получила насмешливый отказ: мол, деньги он бы взял, но только без работы. Пришлось Боре переставить унитаз самому. Я помогала, да и дело-то было на пару часов.

Недавно мой двоюродный брат Володя Плаунов опубликовал книгу об отце с большим количеством фотографий, она названа: «Николай Хватов. Рядом с командиром и солдатом», Москва, 2015.